

Марко Вовчок

Записки причетника



Марко Вовчок
Записки причетника

«Public Domain»

1870

Вовчок М.

Записки причетника / М. Вовчок — «Public Domain», 1870

«Я родился в тихой глуши нашего пространного отечества, в неизвестном уголке -ской губернии, в селении Тернах. Селение Терны скрыто от взоров любознательных путешественников, каждое лето спешающих на богомолье в -ский славный монастырь, опоясываемыми его с трех сторон лесистыми горами, которые, сходясь полукругом к многоводной и быстрой реке, изобилующей рыбою и воспитывающей на берегах своих стаи водяных птиц, образуют обширную впадину, нечто вроде исполинского гнезда, веселящего в весеннее время бархатной мягкостью своей муравы и свежестью густолиственных садов...»

Содержание

Отрывок первый	5
Глава первая	5
Глава вторая	9
Глава третья	15
Глава четвертая	22
Глава пятая	30
Глава шестая	44
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Марко Вовчок

Записки причетника

Отрывок первый

Глава первая

Краткий этнографический очерк селения Тернов

Я родился в тихой глуши нашего просторного отечества, в неизвестном уголке -ской губернии, в селении Тернах.

Селение Терны скрыто от взоров любознательных путешественников, каждое лето поспевающих на богомолье в -ский славный монастырь, опоясываемыми его с трех сторон лесистыми горами, которые, сходясь полукругом к многоводной и быстрой реке, изобилующей рыбою и воспитывающей на берегах своих стаи водяных птиц, образуют обширную впадину, нечто вроде исполинского гнезда, веселящего в весеннее время бархатной мягкостью своей муравы и свежестью густолиственных садов.

Самый ближний город отстоит от Тернов на шестьдесят верст, но кругом немало деревушек и хуторов, и в праздники около терновского храма Пресвятой богородицы всегда толпилось большое количество народа, что значительно оживляло селение и доставляло многие лепты священнодействующему там отцу Еремею.

Зимой, в метель и непогоду, путь в Терны или из Тернов был сопряжен с опасностями: хищные волки, доведенные до неистовства мучениями голода, даже среди белого дня нападали на отважных, решавшихся пуститься по лесу. Терновские жители старались обыкновенно отправляться в путь обществом или отрядом в три-четыре воза и, кроме того, вооружались длинными рогатинами с железными наконечниками вроде пики – изделие и, если не ошибаюсь, изобретение местного кузнеца, Ивана Бруя.

Одно из многочисленных терновских преданий повествует о некоем Василье Голубце, отличавшемся необычайной красотой лица, зазубчивостью сердца и легкомыслием; он проводил дни свои, пленяя легковверные толпы девиц, вдов и замужних и вероломствуя с ними самым жестоким образом. Обещав одной вдове, на которую имел коварный умысел, приехать в гости, он, презирая выюгу, собрался в дорогу, на предостереженья соседей отвечал веселыми шуточками и с удалой песнью о наслаждениях любви устремился в лес, где и был на первой же версте растерзан стаей голодных волков. Предание гласит, что персты его до того были унижены перстнями, залогом нежности доверчивых созданий, что даже кровожадные звери не могли пожрать их, и все десять найдены были потом на месте ужасного происшествия, на небольшой прогалинке, и поныне носящей название «Голубцовой».

Бывало, отроком, лежа в зимнюю непогожую ночь без сна на ложе своем и прислушиваясь к диким завываньям, доносящимся из лесу, я живо представлял себе легкомысленного и вероломного красавца Василья Голубца, с удалым пеньем стремящегося через лесную чащу, осыпанную инеем, сверкающие со всех сторон подобно раскаленным углям глаза хищных зверей, последующую затем страшную драму и содрогался. Невзирая на страх при одном представлении давно случившегося события, я, по младенческому бессмыслию, вместе с тем пламенно желал повторения того же в несколько измененном виде и провожал всякого, отправляющегося в дорогу зимней порой, с тайным упованием, что он не избегнет страшной встречи.

Но я всегда бывал разочарован в своих ожиданиях. Многие, правда, рассказывали, что видели стаю волков, но звери эти, после жалких попыток нападения, обыкновенно обращались в бегство. За мою память самой ужаснейшей драмой, разыгравшейся в этом роде, было похищение поповой коровы, домашнего, но свирепого животного, которое норовило всякому встречному, кроме попады, дать рогом в бок.

Если опушенные инеем леса и окованная льдом река производили унылое впечатление на тех, кто, подобно мне, осужден был, за неимением теплых и удобных одежд, сидеть у окна и завидовать нагло чирикающим воробьям, бодро перелетающим с крыши на крышу и с забора на забор, то весна, лето и осень сторицею вознаграждали его за претерпенные зимой неудобства. Кроме обычных сельских утех – разоренья птичьих гнезд, отыскивания сладких корешков и зелий (я до сей поры сохраняю пристрастие к «козельцам», отличающимся особой свежестью и терпкой сладостью), купанья, ловли раков и рыб, игр с жеребятами и т. п. – в Тернах было невероятное благорастворение воздуха и изобилие плодов земных. Особенно славились наливчатые зеленые яблоки, по местному названью «зеленки», которых я нигде больше не видал, и крупные, черные, как жидовское око, вишни, превосходящие сладостью самый мед.

Ячмень, овес, греча давали прекрасный урожай; рожь отличалась удивительной пышностью колоса, густотой и вышиной. Я помню, терновский пономарь, которому в церкви самые рослые прихожане доставали только по ухо, входя во ржи, почти весь исчезал в волнах колосьев; мелькал только его высокий картуз с длинным, задраным вверх козырьком да конец дубовой палки, которую он имел привычку закидывать на плечо, на образец того, как держал оружие воин Пилата, изображенный на священной картине, приобретенной им на городской ярмарке и украшавшей его скромное жилище в одно окошечко, с вертящимся петушком на трубе.

Жители селения Тернов все без исключения хлебопашцы и являют свойственную хлебопашцам простоту и кротость нравов.

Я полагаю, впрочем, что помянутая кротость нравов происходит не от особого дара божия, а преимущественно от чрезмерного физического утомления. Самые лютые и строптивые быки, будучи выпряжены из ярма, не являют признаков буйства, ни ярости, а ложатся и с томностию поглядывают на хозяина, приносящего им корм.

Я встречал в книгах пленительные рассуждения по поводу благодетельного влияния земледельческой жизни и не менее пленительные описания каких-то благодушных поселян, мудрых, добродетельных и довольных своей скромной участью, но, полагаю, это пишет человек, обольщающий читателя, или же невинный, обольстивший самого себя наружной прелестью вещей.

Может быть, такие блаженные хлебопашцы жили в незапамятные века или будут жить во всеобещающем будущем, но в наши времена я, исходивший, могу оказать, вдоль и поперек наши края, нигде не встретил подобных. Всюду я находил, любезный читатель, под самыми розовыми цветами черные терния и пронзающие шипы, а в самых мирных и уединенных деревушках страдание, озлобление и всякие порождаемые этим мятежные чувства.

Тишина полей, журчанье тихоструйной реки, шелест лесов несомненно производят умиротворяющее действие; это я не раз испытывал на самом себе в минуты некоторых душевных бурь и сердечных волнений. Но буря буре рознь. Как бы прелестно ни пылала вечерняя или утренняя заря, какой бы ласкающий зефир ни нежил своим легким дуновением, как бы ни цвели и ни благоухали поля, луга и леса – может ли вся эта умиляющая краса природы смягчить положенье беззащитных пернатых, над которыми ежечасно парит хищный ястреб? А в невежественной деревушке всегда витает тот или другой ястреб (и благо еще если один!), который может схватить в когти любое бедное творенье, безнаказанно развеять его перья и спокойно сесть на свой насест отдыхать после предпринятого им труда истребления.

Припоминая некоторые факты и соображая их, я могу заявить, что терновцы, под личной простоты и кротости, отличались особой пылкостью нрава, изобретательной мстительностью, постоянством как злых, так и добрых чувств, неустрашимостью, хладнокровием и великим лукавством.

Наружность терновцев самая приятная: они росли, статны, замечательно красивы, одарены звучным голосом и, по большей части, бесподобные певцы и певицы; напевы у них вообще грустные; женские исполнены нежности и страсти, мужские – мрачной, пламенной энергии и горечи. Слова песен поражают поэтическими красотами, а смысл их всегда трезвый и здравый, несмотря на влияние разных предрассудков и суеверий. То же можно сказать и об их преданиях и сказках. Последние могут развеселить самого угрюмого смертного своей живостью, меткой язвительностью, игривостью, остроумием, едкой насмешливостью и тонким знанием нашего греховного и слабого естества. В них преимущественно карается любостяжание, женское кокетство и легкомыслие в жизни, бесхарактерность и леность мужчин, потворство своим страстям, всякое цыганство, трусость и неустойчивость. Герои и героини всегда подают собой пример мужества, непреклонной решимости, бодрости в бедах и напастях, терпения, постоянства в чувствах и мыслях и ничем не сокрушимого стремления к задуманной цели. Между прочим, в одной из сказок герой кузнец порешил или победить стоглавого великана, пожирающего младенцев, или самому сложить голову и отправился на битву. С первого же удара великан его сшиб, взял двумя перстами и закинул в глубокую яму. Очнувшись, первым делом кузнеца было стараться о своем излечении, а затем попытки выбраться из ямы. Он выбирался год, наконец старания его увенчались успехом, и он, не заходя даже повидаться с близкой сердцу особой, снова отправляется на битву с стоглавым чудовищем. Они бьются. Кузнец снова погран и закинут еще в глубочайшую яму. Придя в себя, он выказывает ту же бодрость духа, что и прежде; два года кладет на то, чтобы выкарабкаться из пропасти, и, не внимая голосу сердца, немолчно зовущему его под тихую сень родного крова, стремится снова на битву. Он в третий раз бьется, повержен в прах, низринут в бездну, выползает из нее только через три года и, попрежнему ничем не искусимый, является на битву. Ярость великана умеряется изумлением и тревогою. Он берет свою семисаженную секиру, но задумывается, медлит и наконец, поразмысливши довольно, обращает к кузнецу льстивую речь:

– Кузнец, а кузнец!

– Что, великан?

– Коли ты человек божий и блюдешь правду, так ты лукавить не станешь, а признаешься мне по чести!

– Признаюсь по чести!

– Что, в твоём селе за тобой ухают?

– Нет, не ухают. У нас только за дурнями ухают.

– Так, значит, те, что у тебя дома-то, с твоим же духом?

– С моим.

– И как если я тебя испепелю и прах твой развею, они тоже будут ходить ко мне биться?

– Будут. Все по очереди, друг за дружкой. Пока ты будешь взрослых истреблять, малые будут подрастать.

– И нельзя вас ничем ублажить?

– Ни-ни!

– Я бы, пожалуй, белоголовеньких ребятишек не стал кушать; тоже коли единое дитя у матери, не стал бы трогать.

– Ты никак думаешь, что я на твои посулки кинусь, как соловей на тараканов, поклюю и попадусь? Давай лучше биться, что время понапрасну терять!

– Что в битвах толку-то? И тебе скверно и мне неприятно. У тебя, надо полагать, живой кости уж нет; мне ты вот повредил глаз, вышиб зуб, переломил мизинец – все это, разумеется,

дело не первой важности и силы моей не убавит ни на маковое зерно, да прискорбно: я великан молодой, желаю нравиться своей великанше, а она вон вчера: пфа! говорит, кривой мизинец! К тому же и твоя вера и моя вера повелевают жить в мире...

– Давай биться!

– И прекрасно мы бы это с вами зажить могли: я, пожалуй...

– Давай биться!

– Позволь мне тебе сказать...

– Давай биться!

– Одно слово: вы точно ли все такие?

– Все до единого одним миром мазаны.

– А ну, побожись женой и детьми!

Кузнец побожился.

– Тьфу! – сказал великан. – С этаким народом и жить не стоит: одно беспокойство! Пойду в другую землю!

Плюнул великан и ушел в другую землю ребят есть.

А кузнец воротился домой, положил секиру в придобное место, чтоб не ржавела, поцеловал жену и детей и сел за стол есть коржи с медом.

Я, читатель, привел сказку о кузнеце и великане не вследствие любезного мне празднословия. Я полагаю, вымыслы народной фантазии могут дать самонернейшее понятие о народе; руководясь этой мыслию, я выбрал, по своему крайнему разумению, один из наихарактернейших и представил тебе, да узришь хотя некоторые черты моих земляков, не искаженные пристрастием, или ненавистью, или легкомыслием.

Глава вторая

Краткий очерк обычаев, характеров и отношений окружавших меня лиц

Если бы ты, любезный читатель, очутился погожим летним утром в терновских лесах, то, будь ты наивзыскательнейшим из смертных, у тебя вырвались бы многие восклицания удовольствия. Самое так именуемое каменное сердце не могло оставаться равнодушным к этим бесподобным переливам яркой зелени, к аромату цветов и трав, тишине и вместе с тем повсюду чувствуемому движению жизни, свежести и не разнеживающей, но трезвящей мягкости благодатного воздуха. Это пленительное уединение всегда напоминало мне эдем, легкомысленно утраченный нашим праотцем Адамом.

Очутившись здесь, читатель мог бы ходить около самого селения, не подозревая близости жилищ, скрытых внизу сенью густолиственных деревьев, полагать себя вдали от докучных в иные часы собратий и предаваться грустным или приятным мечтаньям, не опасаясь стеснительных для мечтаний встреч. Но он скоро был бы выведен из самосозерцания в праздничные и воскресные дни слабым, как бы готовящимся закашляться звоном надтреснутого колокола, призывающего верных к слушанию литургии, а в будние дни пронзительным дискантом попадьи, заставляющим повторять эхо соседних ущелий отрывки характерных местных выражений гнева.

Направив шаги свои по дребезжащему звону колокола или по пронзительному дисканту попадьи, читатель не замедлил бы попасть на гладко утопанную тропинку, далее увидел бы в стороне небольшую прогалину и на ней пасущуюся спутанную попову сивую кобылу с жеребенком и попову черную корову, привязанную на длинной веревке за рога к дубу; потом слух его был бы поражен заботливым кудахтаньем невидимых, но близких насекомых и писком робких цыплят, и, сделав еще несколько поворотов по тропинке, он бы внезапно очутился на лесной опушке, и его взорам неожиданно бы представился амфитеатр цветущих огородов по отлогостям горы, сельский скромный, сероватого цвета храм, окруженный вишневым изгородью, как бы венком, влево от храма – попов белый четырехоконный домик с крытым крылечком, прилежащие к нему гумно, погреб, амбар и фруктовый садик; еще левее – крохотная мазанка, жилище пономаря, увенчанная деревянным петушком, показывающим направление ветра; несколько ниже – довольно ветхая хижина, осененная громадной развесистой грушей, где в бедности и печали, но в согласье и дружбе проводили дни дьякон и дьяконица, родители автора этих записок, а дальше живописно рассыпанное селение, муравчатая улица, разбегающиеся во все стороны узкие извилистые дорожки, сверкающая в низких берегах река, езжая дорога вдоль берега, а за рекой круто поднимающиеся лесистые утесы, прорезанные глубокими ущельями.

Детей всего успешнее развивают душевные потрясения; они развертывают детское мышление, изошряют наблюдательность, заставляют сравнивать и обсуждать и таким образом посевают первые семена добра и зла в неиспытанной младенческой душе. Смотри по благому или злотворному свойству этих потрясений, пробуждаются в невинном творении высокие или низкие стремления, укореняется великодушие или жестокосердие и незаметно, так сказать, закладывается духовное здание будущего гражданина.

Первыми тревогами и горестями, искусившими меня в жизни, я обязан помянутой уже мною терновской попадьей, Варваре Иосифовне Македонской, а этим тревогам и горестям – первыми семенами низких чувств, пустивших столь глубокие корни, что даже в совершенных летах, призывая на помощь всю силу разума, я с величайшим трудом мог выходить победителем в борьбе с ними.

Той же попадье Македонской обязан я и разнообразнейшими сведениями о промахах, ошибках и грехопадениях всех окружавших меня лиц, включая в то же число и моих родителей, ибо она имела обычай выбегать, в порывах своего гнева, на крыльцо и, взяв самую высокую ноту, варьировать биографию опального лица до надсады своей мощной груди.

Так, я узнал от нее, что дед мой по матери унизил иерейский сан бракосочетанием с мужичкой, за что попал в ответ, откупался, этими откупками разорился вконец, стал пить и в пьяном виде просватал мою мать тоже за «хама», то есть за простого поселянина Семена Куца. Но дьякон Македонский во-время уведомил брата бесчинствующего старца. Брат подошел, и его усердными стараниями все было приведено в стройный порядок: дед мой отставлен по болезни «от повреждения рассудка», мать перевенчана с неизвестным ей человеком, занявшим место дьякона Македонского, Македонский возведен в сан священника за беспримерную ревность в благочестии, прежний жених заподозрен в поджоге церкви и отправлен куда следует для допроса.

– Проклятые голыши, сто чертей с чертенятами вам в живот! – вопила однажды Македонская с своего крыльца, обращаясь к нашей хижине. – Не достанется вам моим добром свою поганую свинью живить, чтоб ее вместе с вами разорвало! Чтоб ее разнесло до последней щетинки! Не видишь, что в чужой огород лезет? Тебе выслепило, что ли? Или на уме все Сенька Куц? Вор, душегубец, поджигатель! Святой храм хотел поджечь, антихрист! Ты еще не ликуй, что он раз вывернулся! Погоди, матушка! Попадется еще, не выкрутится! Не надейся прежними утками забавляться! Не гулять уж с ним по лесам обнявшись! Не амурничать! У! срамница! позорница! Умовредный тебе муж попался! Другой бы тебе задал маку! Вислоухий дурень, пропасти на тебя нету! Няంచి, няంచి Сенькиного сынка за своего родного! Так в Кущей и вылилось хамово отродье! Расти, глупая тетеря, висельника на свою голову! А ты, слюнявец, погоди, я до тебя доберусь! Только бы ты мне попался! Я из тебя ноги и руки повыдергаю! Чтоб вам все колом встало, вороги! Чтобы вас полымем выжгло да вихрем вынесло! Чтобы вас в дугу согнуло, в колесо свернуло! Чтоб вам ни дна, ни крыши, ни смерти, ни покаяния! Чтоб вас горой раздуло! Чтоб вы треснули, как лопух на огне! В гроб сведут, окаянные! Ненила! дай квасу испить! Что белки-то показываешь? Чего тут стоишь столбом? Нет того, чтоб матери помочь! Мыкайся с вами, лежнями! Наказал господь детками! Где отец?

– Ушли, – отвечала Ненила густым басом, которому мог бы с основанием позавидовать любой молодой дьякон.

Ненила была чернобровая, белолицая, румяная поповна, благолепная, как писаная красавица, здоровая, как лось, и прожорливая, как утица. Я раз сам тайно наблюдал за нею и был изумленным свидетелем невероятной, так сказать, чародейской быстроты, с которой она проглотила три десятка груш-скороспелок, затем облизалась, отерла уста рукавом, впала в краткое раздумье и пошла в огород, где объела целую гряду гороху; снова облизалась, снова отерла уста рукавом, снова впала в краткое раздумье и пошла дергать репу и морковь, истребила целую фартучную полу этих даров природы с тем же проворством и безнаказанностью, медленными шагами возвратилась в горницу, села у окна и стала глядеть в пространство. Насколько родительница ее отличалась неугомоном, зоркостью, словоохотливостью и крикливостью, настолько же Ненила была сосредоточенна, молчалива и тяжела на подъем. Впрочем, всякие зрелища ее привлекали неотразимо. Завязнет козел в заборе, вытаскивают корову из ямы, палят кабана, – Ненила Еремеевна не поленится, придет, станет и глядит своими черносливоподобными очами. Когда же свадьба, или похороны, или где бранятся, так нечего и говорить: Ненила Еремеевна явится первая и удалится последняя. Едва родительница успевала вывести первую свою нотку, уж она выходила на крыльцо, прислонялась к дверной притолоке и внимательно слушала яростные проклятия и угрозы.

– Что ты там рывкаешь? Где отец, спрашиваю?

– Ушли куда-то.

– Носит нелегкая бородатого черта! Напороться бы тебе на рожон! А Настя где?

– В горнице, шьет.

– Ты чего не отвечаешь? Не слышишь, мать спрашивает? Или тебе глотку засадило? Где ты?

– Я здесь, шью, – отвечал голос, ласкающий слух своей звучностью и мягкостью.

– Что ж сразу не откликаешься? Или ты церкву обокрала? Или душу загубила? Я тебе, постой только, язык развяжу! Лизавета! Что ж ты, собака, не уберешь кадки-то к месту? Или мне тебя поучить пойти? Ах ты, чертов калач! Камень бы тебе на шею да в воду!

– Куда ее поставить? – спрашивала полнолицая, полногрудая работница Лизавета, домашний многотерпеливый, отроду не издающий жалоб, Муций Сцевола.

– Это кто мне здесь соломой насорил? Прохор! Прохор! поди сюда, чертов сын!

В зимнюю пору батрак Прохор, курчавый приземистый молодец, свежий как выскочивший из-под земли после дождя рыжик, откликнулся на гневный зов, и вскоре два голоса сливались вместе: попадья заливалась, как соловей, проклятьями, а Прохор, как горькая вдовица, голосил-причитал: «сирота я, сирота несчастная!» с таким трогательным сокрушением, что мятежное сердце Македонской смягчалось, и она, пожелав ему чирья, или горячей смолы, или черта с рогами в глотку, нередко умолкала, не излив всего запаса своей ярости. Но в летнюю пору при первом крике Прохор исчезал и возвращался не ранее попадьиной «надсады». Призванный к ответу, где был и как смел отлучаться без спросу, он жалобным тоном и с выражением страдания в каждой черте лица отвечал, что у него живот схватило, или что его рвало, или что ему поясницу свело и он, хотя слышал, как звали, но сил не имел явиться.

– Ах ты, бесстыжие твои глаза! – восклицала попадья. – Поясницу ему свело! Не нынче-завтра с жиру лопнешь! Ишь образину-то раздуло, словно ковальюкий мех! Сало из разбойника каплет! Поясницу свело!

– А то не сведет! – уныло отвечал Прохор. – Клянете, клянете да хотите, чтоб клятва даром проходила! Бог вам судья! Сироту обидеть легко!

Я, по свойственной мне пыгливости, желая удостовериться, точно ли попадьины проклятия имеют столь ужасную силу, не раз наслезивал Прохора, и всегда оказывалось, что он все время, пока бушевала гроза на поповом дворе, сидел неподалеку от нашего огорода, в картофельной яме, и плел соломенные шляпы или котики из камыша или долбил и украшал резьбой ложки, в чем был изрядный искусник.

Пословица говорит: «И у воробья есть сердце», тем паче у женщины. Читатель догадывается, что терновское женское население не всегда владело своими чувствами, и случалось, всесокрушающей Македонской давали сдачи. Но я никогда не слышал, чтобы моя мать хотя слово ответила на сыпавшиеся на нее обиды. Не только не отвечала она самой попадье, но даже заочно, когда обидчицу, по местному выраженью, «костили» (что делалось тотчас же, как только сходилась два или три лица женского пола), она никогда не присоединяла своего голоса к негодующему хору. Даже дома, в своей семье, когда отец начинал сетовать, а иногда, несмотря на всю свою кротость и благодушие, призывать на лютую обидчицу кару небесную, она или уходила, или отвлекала его другими разговорами. Она не плакала, не жаловалась и, казалось, спокойно и безропотно покорялась злу, которого ни избежать, ни отворотить не могла. Я только замечал, что когда попадьина ярость заставляла ее врасплох, так сказать, лицом к лицу и она брала меня за руку и вела домой, то рука ее бывала холодна как лед, слегка трепетала, а губы белели и дрожали.

Невзирая на все уязвления по поводу прежнего жениха, Семена Куца, на все ядовитые толкования касательно дружбы с его родом, она открыто вела теснейшую и неразрывную приятельность с его сестрой, Ульяной.

Я помню, как вспыхивали ее глаза радостью и как оживлялось лицо, когда появлялась эта Ульяна, строгостью и красотой черт, величием осанки напоминавшая языческую богиню

Юнону, но ласковостью голоса и приветливостью улыбки пробуждавшая во мне самое тихое удовольствие при встрече.

Несколько раз в году на попадью вдруг находило отменно приятное расположение духа: она с пленительной приветливостью спрашивала о вашем здоровье, с родственным участием осведомлялась о ваших делах, любезно шутила, доверчиво поверяла свои мысли, планы и предприятия, предлагала разные мелкие, но важные в убогом хозяйстве услуги, настоятельно звала на пирог или на чай, одним словом, делалась столь благою и доброю, что, по терновской пословице, ее хоть до раны прикладывай. В подобных случаях кроткий отец мой всегда первый доверялся этому ненадежному вёдру и, возвращаясь домой после попадьина пирога или чаю, с торжеством говорил матери, что вот, наконец, всякая распря окончена и настал мир и благоденствие; причем сначала намекал издалека, а потом откровенно советовал матери забыть старые обиды и посетить обновившуюся духом Варвару Иосифовну. Но мать никогда не переступала порога дома Македонских, отвечала на все заискивающие речи и действия кратко и сдержанно, не принимала никаких услуг, ни даров сама и умела отклонять и избегать те, которые принимал отец. Отцовские перемирия и посещения ее, повидимому, не смущали; она по поводу их не выказывала ни гнева, ни печали; но когда раз я, обольщенный коржами с медом и, кроме того, движимый любопытством заглянуть в гнездо дракона, провел некоторое время в поповом жилище, то, возвратясь, застал ее в неопisanном волнении. Схватив меня в объятия и крепко прижав к груди дрожащими руками, она сказала:

– Сердце мое! никогда не ходи туда!

Она ничего больше не прибавила, но эти простые слова так сильно потрясли меня, что с той поры ничто не властно было заманить меня даже к попову крылечку.

Подобное поведение, конечно, не проходило безнаказанно ни матери, ни мне.

– Где ей с добрыми людьми знаться! – кричала попадьа. – Ей со свиньями в пору водиться! Мы ей не принесем весточку об миле дружке, так с нами она и речей не находит! Какое сударик слово пересказывал? Небось жаловался: «Ручки, мол, от кандалов болят!» Очень я тобой нуждаюсь, сметье ты подворотное! Наплевать мне да ногой растереть твое все знакомство! Пусть только твой сморкач зайдет в мой двор, я ему голову сверну!

Но «сморкач» (то есть автор этих записок) не только не заходил более во двор, а даже при встречах в местах нейтральных проворно бросался в сторону, как заяц от бубна, стараясь где попало укрыться от взоров свирепого неприятеля.

Отец хотя советовал не отвергать случаев примириться с попадьей, однако не только не настаивал на этом, как глава семейства, но даже не просил. Он обращался с матерью чрезвычайно ласково, почтительно и как бы несколько робко. Она, с своей стороны, была всегда равна и кротка, внимательна к его нуждам и удовольствиям. Отроду у нас дома не слышал я спору, не видал ссоры; жизнь текла мирно и согласно, а вместе с тем у нас было не весело. Не было того волшебного-живящего луча любви, который столь чудесный свет бросает на самую мрачнейшую обстановку жизни. Я по детскому несмыслию, конечно, этого не разумел, но смутно чувствовал.

Отец ласкал меня безмерно и, как мог и умел, баловал, но я самыми нежными его ласками, самыми заманчивыми его баловствами и вполнину не так дорожил, как единым простым словом матери.

У детей есть инстинкт, помогающий им безошибочно угадывать, на кого они могут положиться. Я охотно бежал с отцом на рыбную ловлю, в поле ловить перепелов, с большим интересом беседовал с ним о различных ежедневных делах, но чуть являлась у меня тревога посильнее, огорченье поглубже, я спешил к матери. Были тысячи простых в сущности и неголовомомных вещей, о которых у меня отроду не являлось желания его спрашивать, между тем как с матерью я вел о них длинные речи.

В ту пору, с которой я начинаю свои записки как очевидец, в Тернах случилось три происшествия. Первое, и в то время по детскому несмыслию для меня самое важное и потрясающее, было приобретение отцом рыженького жеребенка с лысинкой, нареченного мною «Головастиком» за несоразмерно большую голову. Второе – смерть нашего дьячка, почти незнакомого мне человека; пожар, в котором заподозрен был Семен Куц, спалил дотла его жилище, и он жил на конце села, у своего приятеля и кума, пчеловода Захарченка; к тому же, как человек больной и слабый, он редко показывался даже и в церкви. Третье – появление на место умершего нового дьячка, по имени Софрония, саженого молодца с черными сросшимися бровями, сокольими глазами, пышно вьющимися длинными, как вороново крыло черными волосами и бороною, благозвучным голосом и краткой, отрывистой речью.

Софроний приятно поразил меня своей осанкой, когда я через забор наблюдал, как он входил в попов двор.

Первая встретила его Ненила и принялась глядеть на него в упор, затем явилась попадья из огорода.

– Ты у меня смотри, веди себя честно, – сказала попадья. – Не пьянствуй.

Софроний безмолвствовал.

– У нас этого не позволяется. Уж теперь такие времена настали, что ни у кого ни стыда, ни совести нет и всякий ведет себя как самый последний поросенок... Что ж ты молчишь?

Вопрос этот был уже сделан с изрядным раздражением.

– На свете, точно, много поросят, – ответил Софроний.

– Ну, это не твое дело судить, ты знай за собой гляди! Только бы я заметила какие штуки за тобою...

В эту минуту я вдруг почувствовал на правой щеке горячее дыханье, с ужасом обернулся и увидел около себя попову Настю, запыхавшуюся, розовую, как заря утренняя. Слегка отодвинув меня плечом от отверстия в плетне, она припала к нему и несколько времени оставалась неподвижна. Удовлетворив достаточно любопытство, она обратила на меня свои лучистые, веселые карие глаза и с живостью шепнула:

– Видел, какой богатырь?

– Видел, – отвечал я с некоторым колебанием, зная, что ко мне обращается лицо из неприятельского лагеря, но в то же время пленяясь против воли этим лицом и чувствуя к нему непреодолимое влечение.

– Ты знаешь, он с собой ружье привез, я сама видела! Я была в лесу, а он как раз мимо меня проехал, и ружье лежало около него, – длинное-длинное ружье! Возьмет, прицелится – паф, и Тимошу карачун!

При слове паф! она легонько кольнула меня перстами под бока и подмышки; я содрогнулся и хотя невольно взвизгнул, но почувствовал не досаду, а удовольствие и отвратил лицо, чтобы скрыть несдержанную улыбку.

– Тимош! – спросила она – ты чего меня боишься?

Я смутился.

– Ты меня не бойся, Тимош! – сказала она убедительно. – Поцелуй меня, – ну?

Она подставила уста свои, свежие, как лесная земляника.

Я сомневаясь, но напечатлел на них робкий поцелуй.

– А вдруг я тебя укушу, а?

И она звонко щелкнула своими белыми сверкающими зубами.

Я желал сохранить хладнокровие, но не возмог и засмеялся.

– Ну, поцелуй еще!

Я проворно исполнил.

– Ну, давай вместе глядеть!

Мы вместе припали к плетню и стали глядеть на Софрония, стоявшего все в той же позе, с шапкой в руках и с тем же, несколько угрюмым, видом.

– У! вот бука-то! – шепнула Настя.

– Бука! – ответил я.

– Что это ты за *незнайка* и за *неслыхайка* такой! – говорила попадьа с большим уже раздражением. – Ведь ты ж сколько лет жил с ним бок о бок!

– Я не любопытен, так не глядел и не слушал, – отвечал Софроний.

Тут отец Еремей показался на крыльце, благословил новоприбывшего, принял от него письмо, прочел и спросил:

– Что ж, отец Иван теперь совсем поправился в здоровье?

– Поправился, – отвечал Софроний.

До сей поры образ отца Еремея, хотя и знакомый мне хорошо, как-то исчезал у меня за другими лицами. Если он иногда и рисовался моему воображению, то не иначе, как на заднем плане, и самыми отличительными чертами его особы представлялись мне пояс, шитый яркими гарусами, и широкорукавная ряса или же парчовая риза. Я впервые пристально взглянул на него сквозь плетень и долго не мог оторвать глаз. Ничего строгого, сурового не было в благообразном его лице; на нем даже выражалась приличествующая духовному пастырю кротость; он, как и прочие церковнослужители, имел привычку поглаживать свою широкую, густую, темную, как бы спрыснутую серебром, бороду и откидывать длинные космы назад, потирать руки и набожно поднимать глаза к небу; в обращенье он был мягок, в словах приветлив, улыбками изобилен; все это я видал и знал и прежде, но как бы в тумане, а тут словно сдернули пелену, и меня вдруг поразила не подозреваемая до того яркость красок. Тот же отец Еремей был предо мною, а вместе с тем другой, которого я начал с этой поры бояться больше, чем самой его свирепой супруги.

– Ну, ты теперь отдохни, – сказал отец Еремей.

– Где мне жить определите? – спросил Софроний.

– Вот в том-то и беда! Ты знаешь, тут у нас пожар случился...

– Где это Настя запропастилась? Куда ее носит? – раздался голос попадьи.

Мы оба отскочили от плетня.

– Ну, прощай! – оказала мне Настя. – Не бойся ж меня, слышишь? Не будешь?

– Не буду! – отвечал я ей.

Но она, вероятно, уже не слышала моего ответа, скользнула в коноплю и пропала в ее густой зелени.

Глава третья

Софроний выдвигается

Новоприбывший дьячок Софроний сильно занял все умы и сделался, так сказать, героем селения. Как перед новокупленным конем махают красными лоскутьями, наблюдая, как он – отпрянет назад, взовьется ли на дыбы или шархнет в сторону, так и его испытывали речами и действиями.

Испытания эти он выдержал удовлетворительно и только тем не пришлось по нраву, кто предпочитает, вследствие личного вкуса или особых обстоятельств, толстокопытую смиренную клячу гордому, быстрому, кипучему сыну степей. Хотя он еще и не закусывал удила, но прыть и ретивость сказывались достаточно в живости блистающих взоров, скорой походке, звуках мощного голоса, выразительности и силе слова, а иногда в нетерпеливом подергивании крепких плечей.

На другой день своего приезда Софроний пришел к нам, и поучительно было видеть, с какою легкостью, в одно мгновение ока, он взял моего отца в руки и стал, как говорится, вить из него веревку.

Случилось это, полагаю, без всякого преднамеренного коварства и умысла со стороны Софрония. По крайнему моему разумению, подобное подчинение слабейшего сильнейшему так же неизбежно должно совершиться, как гибель мухи, попавшей в миску со сметаной: без борьбы, по самовольному вкусу и непреодолимому влечению.

После первых приветствий отец спросил:

– Ты давно ли овдовел?

– Два года.

– Молодая жена была?

– Молодая.

– Э-э! такова-то жизнь наша человеческая! Злак полей – больше ничего!

Софроний кивнул головой в знак согласия.

– Больше ничего! – повторил отец со вздохом. – А вы с нею хорошо жили?

– Хорошо.

– Ну, что ж делать! Воля господня. Он дал, он и взял! Ты не унывай. Господь испытывает, кого любит, – внушительно сказал отец, облокотись своими тонкими, малосильными руками на стол и глядя слабыми, тусклыми глазами на пышущего здоровьем и мощию гостя. – Вот ты, бог даст, устроишься, заведешь себе огород... Вот ты пока примись да его оплети, а то забортот совсем повалился. Покойник Данило слаб был, ни на какие работы не способен, ну и все пришло в запустенье, а ты теперь...

– Я прежде всего хочу себе хижку поставить, – сказал Софроний.

– Что? – спросил отец с изумлением.

– Хижку поставить. Жить негде.

– Отец Еремей приказал тебе с пономарем жить.

– На что ж мне с пономарем жить. Пономарь сам по себе, а я сам по себе.

– Что ж тебе пономарь, не по нраву, что ли?

– Отчего не по нраву: пономарь как пономарь.

– Так чего ж ты жить с ним сомневаешься?

– А слышали вы, отец дьякон, присказку, как еж в раю в гостях был? Выжил год, да и ушел под лопух: нет, говорит, лучше, как под своим лопухом, – хочу в клубок свернусь, хочу лапки протяну!

Отец засмеялся. Я даже заметил, что мать, сидевшая поодаль от них за работою, слегка улыбнулась и после этого несколько раз глянула на гостя с удовольствием.

– Что правда, то правда, – сказал отец. – Да что ж поделаешь? По одежке протягивай ножки: коли есть где, во всю длину, а негде – подожми.

– Я своих не вытягиваю, куда не надо. Есть дьячковское положение,¹ – я только того и хочу. Отдай он мне мой сбор – и конец! С этим делом надо поспешить; пора теперь самая для построек: сухо, тепло.

– Ну, уж этого я не знаю! – сказал отец, опуская глаза в землю, потирая руки и притворно впадая в рассеянную задумчивость, что всегда бывало у него признаком смущения и тревоги. – Не знаю, не знаю...

– Сбор собрали сейчас же после пожара, стало быть...

– Не знаю! Не знаю! – несколько поспешно, но с той же рассеянной задумчивостью повторял отец.

– Вы напрасно, отец дьякон, опасаетесь со мной об этом говорить, – оказал Софроний.

Отец встрепенулся, как подстреленный; рассеянная задумчивость слетела с него, как спугнутая птица.

– Не мое дело! – проговорил он в тревоге. – Не мое дело! Я тут ни при чем!

– Это-то и худо, что все мы так: «не мое дело», да «я тут ни при чем». Ну, да я запою-таки песню, хоть и подголосков не будет!

– Что ж ты затеваешь? Смотри, ты не супротивничай: заест! Где нам, червям, на вороньев ходить! Лучше ты сиди смирно, вот тебе мой совет. Так смирно сиди, чтоб ни-ни, водой не замутить!

– Я своего не уступлю.

– Эй, не связывайся! Истинно тебе говорю, не связывайся! Вот я живу, угождаю им, как лихой болести, да и то беда. А молчу – еле дышу...

– Какая ж вам корысть, что вы еле дышите? Уж коли все одно волк козу обдерет, так лучше козе вволю по лесу наскакаться.

– Эх, человек ты буйный! Послушайся ты меня! Ну, хоть пообожди маленько, отложи до поры до времени.

– Откладывать не годится.

– Ну, жаль мне тебя! Ты знаешь ли, какой он человек? Из воды сух выдет! Я вижу, ты парень добрый, – меня не выдашь?

– Никого не выдаю.

– Ну, так я скажу тебе, что весь этот сбор ухнул – понимаешь? Тогда после пожара собрали, я знаю, тридцать рублей, и лесу привезли на сруб и соломы на крышу, все как следует, и все ухнуло – понимаешь? Поставил себе новый амбар, пристроил горницу... Теперь только сунься к нему, спроси – ух!

– Я уж спрашивал.

Отец подпрыгнул, как подкинутый искусной рукою мяч. – Что ж он?

– А, да! говорит. Обожди, теперь времени у меня нет. А я ему: только прошу вас покорно, батюшка, не задерживайте долго, потому время теперь сухое – хорошо строиться.

– Что ж он?

– Хорошо, хорошо! говорит.

– И виду не показал?

– Как выюн ни хитер, а посоли его, так завертится. И этот покрутился, а впрочем, благодушен и милостив распрощался.

– А она?

¹ При пожаре, или вообще крайнем разорении, или внезапно постигшем несчастий в наших краях существует обычай, имеющий всю силу закона, собирать сбор для духовных лиц и для церковного причта как монетою, так и натурою. (Прим. автора.)

– Да она пустяки! Сычется, как оса в глаза, и все тут,

– Он тебя теперь водить станет, увидишь! Уж я его знаю. Пообещает все, а потом нынче да завтра, нынче да завтра... Вот покойный Данила так и в гроб сошел, ничего не дождался. Увертлив, как блоха!

– И блоху, случается, ловят.

– Ну, а я тебе во всем помогать буду! – сказал отец, вдруг приободрясь. – Так на меня и положись!

Будучи невинным, неопытным и несмысленным отроком, я не мог наблюдать с должной тонкостью развитие событий, по от меня не укрылось всеобщее смятение и чаяние чего-то необыкновенного. Отец, дотоле постоянно погруженный в хозяйственные занятия, а часы отдыха посвящавший уженью рыбы, ловле птиц или сну, вдруг сделался непоседлив, как молодой котенок, запустил хозяйство, при малейшем шуме выскакивал из дому и вообще волновался, как хлябь морская.

– Ты как полагаешь? Что думаешь? – часто спрашивал он мать, с томленьем обращая на нее взоры.

– Не знаю, – отвечала мать с своим обычным спокойствием и как бы отрешением от всех мирских дел.

Но мне казалось, что и она не совсем была равнодушна к готовящейся драме. Она теперь прислушивалась внимательно к речам отца, при его появлении домой бросала на него испытующие взгляды и заметно стала оживленнее.

Пономарь, в мирное время посещавший нас только в торжественные праздники или являвшийся попросить какого хозяйственного орудия, начал теперь часто прокрадываться к нам, как тать, бурьянами, ползком и, остановясь под окошечком, выходящим на конопляник, тревожно осматриваясь по сторонам, вздрагивая и подпрыгивая, как пуганый заяц, подолгу шептался с отцом.

Даже всех поселян и поселянок поглощала разыгрывавшаяся борьба. Где бы и кого бы ни встречал я вдвоем или втроем, я непременно слышал то или другое характеристичное замечание по поводу отца Еремея или Софрония.

– Ты погоди, – говорил один, – дай срок: он его в бараний рог согнет, даром что он на солнце не моргает – глядит! Ты вспомни Семена Куца!

– Ну, этот, пожалуй, что и Семена Куца за пояс заткнет, – возражал другой.

– Да что он! – говорила женская партия. – Она всему злу причина! Коли б вот ее проучить!

– Проучит и ее! – уповали многие.

Между тем герой Софроний вел себя отменно политично, но неуклонно. Каждодневно появлялся он у крылечка отца Еремея и, не уязвимый, не возмутимый проклятиями попадьи (впрочем, она в отношении Софрония являла некоторую сдержанность и по большей части проклинала его безличными глаголами или в третьем лице и скрывшись в покой), терпеливо ждал возможности увидаться. Так как ему приходилось иногда ждать долгое время, то он стал приносить с собою нити и челнок и, уместившись в сторонке, у ворот, плел невод, вознаграждая таким образом и, насколько позволяли обстоятельства, потерю времени. Разговоры его с отцом Еремеем бывали умеренные, тихие, но, глядя на отца Еремея, мне невольно приходило на память сделанное Софронием замечание о посолённом вьюне. Невзирая на видимую ясность духа, можно было уловить кипение мятежных чувств, волновавших его грудь.

Однажды, заметив, что отец, в крайне возбужденном состоянии, присел в коноплянике, примыкавшем к половому двору, что к отцу присоединился вскоре прокрававшийся воровским образом, пономарь и что даже мать моя с интересом многократно всходила на всегда ею избегаемый холмик около нашего курятника, откуда видно было попово крыльцо, я сообразил приближение какой-то катастрофы и, уже тогда любитель сильных ощущений, поспешил

обеспечить себе наслаждение присутствовать при разражении грозы. Проскользнув мимо не заметивших меня отца и пономаря, я пробрался к тому пункту, откуда вместе с Настей наблюдал первое свидание Софрония и попадьи. Так как во всех случаях, касающихся неприятельского лагеря, я всегда притекал к этому пункту наблюдения, то здесь постепенно заведены были мною некоторые улучшения: истреблена жигучая крапива, сложен из кирпичей столбик, на котором можно было присесть, и прочее тому подобное. Приютившись под гостеприимной сенью широких лопухов, я припал к отверстию в плетне.

Отец Еремей сидел на своем крыльце, на скамье в углу, одной рукой облокотясь на перила, другую поглаживая бороду; у крыльца стоял Софроний с шапкой в руках; у дверей прислонилась Ненила, внимательно слушая и глядя в упор на Софрония; из окна появлялась то и дело медузоподобная глава попадьи.

– Какой ты докучный человек! – говорил отец Еремей с выразительным, но благодушным укором. – Ведь другой бы на моем месте давно бы тебя отучил от этого!

– Не охота моя докучать, да приходится, – отвечал почтительным, хотя неровным голосом Софроний. – Пожалуйте мне сбор, и докуки не будет.

– Что это ты все мне про сбор толкуешь! Я уж сказал раз: обожди, не сомневайся, я тебя не оставлю. На меня еще никто не жаловался, а все, кого знаю, бывали благодарны. Я, Софроний, много на веку нужды и горя принял, а терпел все со смирением и, кладя земные поклоны, повторял: господи! да будет воля твоя! За то творец милосердный и исцелил язвы мои: живу хотя скудно, но душу свою пропитать могу и тем доволен. Не ропщу ни на кого. За зло воздаю добром. Я, как духовный отец и наставник, говорю тебе: истребляй в сердце своем строптивость, злобу, гордость. Человек гордый что пузырь водный: вскочил, и нет его! живи со всеми, не только со старшими, но и с равными, но и с низшими в любви и согласии. И низший может ужалить тебя. Равный вступит в борьбу, и хорошо, если ты одолеешь его, а если он тебя сокрушит? Вышнему же от самого господа дана власть над тобой, и ты в его руках...

– Батюшка, скажите, вы, значит, мне не дадите сбора? – перебил Софроний.

Я видел его лицо в профиль, но и по профилю угадывал, что оно должно было выражать сдерживаемый гнев. Голос же его уподоблялся глухому шуму ярого потока, загнанного искусством в подземную пещеру.

– Да ты опять за сбор! Я, ты полагаешь, сколько на покойного Данила пролечил? Вот, погоди, я посчитаю на днях...

– Нет, уж я не буду этого счету дожидать. Я завтра пойду.

– Куда пойдешь?

– Откуда пришел. Прощайте.

С этими словами Софроний поклонился отцу Еремею и быстрыми шагами вышел из его двора.

Несколько минут отец Еремей оставался как бы пораженный громами небесными, потом встал, прошелся по крыльцу, поглядел, посмотрел, как бы желая проверить, все ли по-прежнему в окружающей его природе, и снова сел на лавку.

– Ушел? – вполголоса спросила попадья, высываясь из дверей.

– Ушел, – отвечала Ненила.

– Сам виноват! – начала попадья, возвышая голос и обращаясь к отцу Еремею. – Его б, душегубца, с первого раза хорошенько прочухранить, а ты ему из священного писанья! Нет у тебя толку на грош, а борода с лопату! Хоть бы уж мне не мешал, безмозглый ты человек! Хоть бы уж...

Отец Еремей вдруг быстро встал, двинулся к дверям и сказал:

– Замолчи и не мешайся! Иди!

Я не мог наблюдать, какой вид представила попадья, но эта вдруг наступившая тишина наполнила мое сердце страхом; замирая, я ожидал услышать пронзительнейший вопль и затем насладиться зрелищем беспримерного буйства и ярости.

Но тишина была мертвая.

Отец Еремей снова прошелся по крылечку и, обратясь к прислоненной у притолоки Нениле, сказал:

– Чего ты тут стоишь? Иди, делай свое дело!

Ненила скрылась.

Отец Еремей снова начал ходить по крылечку. Я старался уловить выражение его лица, но с определительностью не мог этого сделать. Мне казалось, что он как бы изумлен и недоумевает. Он по временам останавливался, глядел по сторонам и снова принимался ходить.

Между тем вечерние тени сгущались; скоро темнота обвила фигуру отца Еремея. Я только по скрипу его сапогов угадывал, что он все еще ходит, приостанавливается и снова начинает ходить. Попадья не показывалась; в доме царило гробовое спокойствие.

Волнуемый предчувствием какого-то выходящего из ряда события и теряясь в догадках, я возвратился домой, где застал пономаря.

При моем появлении отец ахнул, пономарь вскочил с места, мать вздрогнула, но, узнав меня, успокоились.

Пономарь плюнул и сказал:

– Тьфу! мне представилось, что это *сам* пожаловал!

Я старался из их разговоров заключить что-нибудь определительное, но не мог: отец и пономарь оба сидели погруженные в уныние, облегчали себя частыми вздохами и перекидывались краткими возгласами о горечи жизни и о несправедливости судьбы. Мать, по своему обычаю, сидела поодаль, за работою, в молчании.

Утомленный бесполезным напряжением ума и слуха, я незаметно поддался дремоте, очнулся при словах матери: «Иди, ложись», поспешно сбросил с себя одежды, уловил, но уже одолеваемый сном, любимое восклицание пономаря: «Эх, житье-житье! встанешь да за вытье!» и, допав головой до подушки, мгновенно забыл все смуты и тревоги житейские.

Наутро меня пробудил торопливый шепот отца и пономаря, и, не успев еще отряхнуть с себя ночных грез, я уже угадал по преображенным их лицам, что произошло нечто утешительное. Глаза матери тоже оживлены были удовольствием.

Я не замедлил удостовериться, что Софроний получил от отца Еремея желаемый сбор.

То было первое виденное мною торжество над угнетавшею нас властью, и вкушение его было невыразимо сладко. Не только Софроний безмерно возвысился в моих глазах, но я и самого себя почувствовал бодрее, воинственнее и самоувереннее. Не ясно, смутно, но я уже понял, что не все может прихоть сильного властью и что многое зависит от нашего собственного мужества, постоянства и твердости.

Несколько раз пономарь повторял свой драматический рассказ, и я всякий раз слушал его с живейшим наслаждением.

– Только солнышко показывается, только я глаза продрал, – говорил пономарь: – а он и шасть ко мне! «Где, говорит, Софроний?» А сам желтый-желтый, как пупавка.² «Не знаю, говорю, батюшка; не ушел ли, – он вчера собирался: чем свет уйду». Софроний пошел на село хлеба купить, только я в этом не признался, понимаете...

(Пономарь всегда отличался отменным коварством поведения. Так, например, при появлении грибов и опенок, до которых попадья была страстная охотница, он сам вызывался послушать ей, отправлялся с котиком в лес с утра и возвращался только ввечеру. По моим точным исследованиям оказывалось, что он часть дня употреблял на посещение кума своего,

² Пупавка – цветок прекрасного желтого цвета. (Прим. автора.)

кузнеца Бруя; что, собрав грибы, садился в укромное местечко между кустов, откладывал лучшие, прятал их в ямку, а остальные оборыши нес и представлял с умильной улыбкой попадье, давая понять, что целый день ходил по лесу, искал и, пренебрегая слабым зрением, собрал для матушки «новинку», смиренно выпивал подносимую ему чарку водки, с низким поклоном удалялся; осторожно осмотревшись, снова возвращался в лес, вынимал спрятанные грибы, осмотрительно приносил их в свое жилище, где варил и ел всласть.)

– Как только я ему сказал, что Софроний ушел, он так и почернел, как земля! «Сейчас, говорит, чтобы он здесь был! Мне его надо, я ему деньги принес!» Сам как скрежетнет на меня! У меня аж в пятки закололо! А тут Софроний на порог, совсем готовый в путь – и котомочка на плече. «Вот, говорю, тебя батюшка спрашивает». А он тогда этак усмехается и говорит Софроню: «Что это ты, Софроний, то покою не даешь, а то бегаешь? На вот тебе деньги. Перестань горевать и стройся. Коли чего еще не будет ставить, так добрые люди опять помогут». И подал Софроню кошель. А Софроний это взял, сейчас пересчитал, поклонился ему и поблагодарил... Ну! видал я виды, а такого еще не приводилось!

Душа моя рвалась насладиться лицезрением несравненного победителя. Я повиновался душевному влечению и скоро нашел Софроню у лесной опушки, где он варил в малом котелке кулеш.

Надо полагать, что, несмотря на робость и дикость, восторг мой и сочувствие пробивались довольно ясно, ибо Софроний, глянув на меня раза два, три, кивнул мне головою и сказал:

– Подходи, мальчуган! Садись кулеш хлебать.

От столь неожиданной чести свет несколько помрачился у меня в очах. Однако я приблизился.

– Вот тебе ложка, – сказал Софроний, – а я уж буду черпачком.

В волнении я хватил полную ложку горячего кулешу и обварил так рот, что лес, Софроний, небо и земля завертелись у меня в глазах и запрыгали. Я мужественно перенес, но не успел скрыть страдания.

– Эх, угораздило молодца! – сказал Софроний. – Набери поскорей воды в рот!

Он подал мне в ковш воды, в который я со смущением опустил глаза.

Холодная вода произвела благотворное действие, и хотя я не мог уже есть кулеша, но боль утихла.

– Ты ведь дьяконский? – спросил меня Софроний.

– Дьяконский, – ответил я.

Затем разговор у нас перешел на ужение рыбы, ловлю перепелов и т. п. Он спросил, точно ли много волков в лесу и случалось ли встречать их, на что я ему ответил, что волков много, но что мне еще не случалось их встречать.

– А вот коли желаешь, так пойдем когда-нибудь за ними на охоту, – сказал Софроний.

Я на несколько секунд замер от удовольствия.

Затем он начал мне рассказывать о разных способах охоты за волками.

Забыв весь мир, я наслаждался благосклонною беседою моего героя, и, вероятно, даже самый час обеденный пролетел бы для меня незаметен, если бы не начали то и дело появляться люди, преимущественно лица женского пола.

Они наиприятнейшим образом приветствовали Софроню и начинали речь невинным восхвалением благодатной погоды или вопросом, не скучает ли он по своей стороне, как нравится ему новое его местопребывание, щебетали, как малиновки, ворковали, как нежные горлицы, и, обольстив достаточно, переходили к главному. Между тем как мужчины со всем простодушием косматого медведя, подходя, прямо спрашивали:

– А что, правда? Отдал сбор?

Софроний рассуждал о погоде и о чувствах при перемене места жительства хотя сжато, но остроумно; насчет же получения сбора не вдавался в подробности и отвечал одним словом: получил.

– А я тебе топор и весь инструмент добыл, – сказал подкравшийся по своему обычаю, как тать, пономарь, внезапно появляясь из-за кустов. – Нечего тебе и в город теперь ездить.

– Спасибо. Где ж они?

– А я их тут, поблизу, припрятал. Знаешь, чтоб не пало на меня подозрение, что вот я все тебе помогаю, – понимаешь?

Он исчез в кустах на несколько минут, затем снова появился с топором и мешком, заключавшим плотничьи инструменты.

– Гляди, хороши ли?

Софроний все оглядел и остался, повидимому, доволен.

– Спасибо, – сказал он. – А цена какая?

– Как я тебе говорил.

– Хорошо. Когда ж он придет?

– Завтра утречком. Нынче некогда.

– Значит, я сейчас в Великие Верхи колье тесать. Как туда дорога?

Сердце у меня забилося.

– Коли хотите, я вас туда проведу, – проговорил я.

– Спасибо, проведи, – благосклонно ответил Софроний. – Пстой, только вот инструменты приберу да веревку возьму.

– Ты только смотри, мальчугашка! – сказал мне пономарь, – что видишь, того не болтай. Знаешь, что клеветникам на том свете бывает? Ну, то-то!

Мы с Софронием направились к Великим Верхам. Я, гордый и счастливый, хотя голодный, указывал путь.

Не доходя до Великих Верхов, мы встретили Ненилу с полной чашкой малины в руках; посоловелые глаза и алый ободок около уст свидетельствовали о том, что она досыта напирала свою душу сладкою ягодою. Она, не заметив нас, прошла мимо. Затем слух наш поразил шум быстро раздвигаемых ветвей, звонкое пенье, и показалась из-за зеленых кущ сладкогласая Настя, пленительностию образа и живостью движения превосходящая прославленных лесных сирен – русалок. Она очутилась, с нами лицом к лицу, вздрогнула, ярко вспыхнула; пенье, еще повторяемое отголосками леса, замерло на ее устах, и несколько ягод малины высыпалось из чашки.

Софроний ей поклонился и в ответ получил такой же поклон. Она опередила отяжелевшую сестру и скрылась.

После памятных для меня разговора и поцелуев под поповым плетнем Настя всегда при встрече дарила меня улыбкой, веселым приветливым взглядом, а иногда ласковым словом. Теперь ни слова, ни улыбки, ни взгляда.

Это была тучка, и изрядно темная, омрачившая мое ясное небо.

«Она, верно, рассердилась, зачем я хожу с Софронием!» – подумал я с грустию.

Глава четвертая

Праздник пасхи и неистовство Софрония

Софроний выказал неописанную ревность и неутомимость в работе. С зари утренней и до зари вечерней он не знал отдыха. Кроме помянутых ревности и неутомимости, он выказал во всех работах выходящее из ряда уменье и искусство. Он сам плотничал, оплетал плетнем огород, копал гряды, сеял, и все, за что он ни брался, творилось как бы по волшебству: быстро и удачно. Видимо гнушаясь обременять поселян просьбами о помощи, как обыкновенно делает церковный причт, он, если случалось ему одолжаться от кого-нибудь возом, например, для перевозки дерева, немедленно платил за это одолжение не обещаьем вознести молитву ко всевышнему, а трудами рук своих: помогал одолжившему его лицу возить хлеб с поля, или косить, или молотить.

«Хижка» его, невзирая на разные помехи и докуки, быстро отстроивалась и служила предметом удивления и удовольствия для терновского народонаселения. Каждому было приятно взглянуть на такое мастерство; каждый, идя мимо, останавливался и приветствовал усердного и мощного работника.

Сам отец Еремей часто посещал Софрониеву постройку. Отец Еремей, против всякого ожидания, повидимому не питал ни малейшего неудовольствия на Софрония; напротив, как бы искал его общества и беседы: он одобрял Софрониево прилежание, хвалил искусство, подавал советы касательно прочности дубового леса, вообще относился с редкой благосклонностью и даже уделил ему блюдце турецких бобов на посев.

На все это Софроний отвечал с пристойностью, но без умиления.

Только попадья свирепствовала против Софрония и с высоты своего крыльца произнесла клятву «рассыпаться как трухлый пень» и «распасться по суставчикам», если хотя когда-нибудь приблизится к «антихристовой» постройке, а также запретила дочерям, под страхом «измолотить, как сырую рожь», в случае неповиновения. Это запрещение глубоко огорчило любознательную Ненилу; она даже пролила несколько молчаливых слез, упершись лбом в притолоку крыльцовой двери, и угрюмое облако покрыло ее дотоле безмятежное лицо.

Попадья, находившаяся два дня в оцепенении после памятного вечера, снова получила употребление своих способностей. Теперь главный поток ее ярости был обращен на Софрония; она почти бросила остальные распри, устремилась на свежую жертву и, принимая его спокойствие за кротость, свирепела с каждым днем.

Между тем женская партия, почитавшая попадью Македонскую корнем всех зол и возлагавшая на Софрония сладостное упование, что он этот корень подрежет, заподозрила его в слабости духа и начала волноваться. После многих сетований и ропота она выбрала из среды своей посланниц, которым поручила доказать Софронию весь позор его безответности и возбудить в нем более благородные чувства. Во главе посланниц явилась некая Устина, или, как ее у нас звали, Устя, жена ума хитрого и тонкого, искусная в обольщениях словами, виновница распада многих семей, разрыва долголетних дружеских отношений, отважная, неустрашимая и пламенная. За последнее качество она даже получила название «вышкварка».³

Однажды ввечеру, когда Софроний, окончив дневную работу, сидел у нас и разговаривал с матерью (мать охотно слушала его речи и даже улыбалась на его шутки; вообще отличала его от всех прочих), вошла Устя. После томных, но лестных приветствий она упавшим голосом попросила у матери одолжить ей богородицыной травки, жалуясь на сокрушающее ее нездоровье.

³ Вышкварок – кусочек кожи от сала, подскакивающий с шипеньем на сковороде и разбрызгивающий кипящую жидкость. (Прим. автора.)

– Поди, Тимош, – сказала мне мать. – Достань в каморе, направо, на третьем колышке висит.

Я отправился, отвязал пучок травы и поднес его Усте. Но Усте уже было не до богородицыной травки.

– Нету, значит, ни правды на белом свете, ни добрых людей! – говорила она, оправдывая всем своим существом данное ей наименование. – Пусть уж мы терпим – наша уж доля таковская! А вам, Софроний Васильевич, с какой стати ей покоряться? Как она может вами помыкать? Вчуже сердце надрывается! Вдруг намеди хвалится: «Я, хвалится, его так вышколю, что он будет у меня по ниточке ходить и не падать! Я, хвалится, что хочу, то и могу над ним, поделать, – он слова передо мной пикнуть не посмеет! Он что такое? говорит. Тьфу! больше ничего!» Ох, боже! у меня за вас душа закипела! Бабы говорят мне: «Неужли он вправду такой пень?» – «Вы уж и поверили, – говорю им, – безмозглые чечетки! Погодите, говорю. Он, может, не знает еще ничего». – «Какое, – говорят они, – не знает! Ведь она, кажется, голосу не жалеет: глухой услышит». – «Все-таки, говорю, погодите. Может, он нездоров или что такое. Я, говорю, доподлинно знаю, что он себя бесчестить и позорить не попустит». – «Ну, говорят, увидим, чья правда, ваша или наша!» А мужики тоже научают: «Что, говорят, это за человек? Даже с бабой не умеет справиться! Что ж такое, что она попадья? И попадье можно правду сказать! Попадья, говорят, не затем поставлена, чтоб ей честных людей порочить!» Вы сами согласитесь, Софроний Васильевич! Вы скажите мне: чья душа может терпеть такой позор? Вы скажите мне!

– Да вы напрасно столько этим сокрушаетесь, – отвечал Софроний: – не стоит.

– Как не стоит?

– Да так не стоит. Пусть себе надсаживается, коли ей охота.

– Так неужто вы это ей спустите? – вскрикнула Устя, словно под нее жару сыпнули. – Неужто будете молчать?

– Зачем же мне за ней тянуться?

– Господи! мать божия! – медленно, как бы в смертельном ужасе, проговорила Устя: – бабе над собой такую волю дать? от бабьего слова бежать?

– А разве вы не слышали, как от одного тухлого яйца семеро мужиков бежало? – сказал Софроний, вставая. – Доброго вечера и веселой беседы!

С этими словами он удалился.

Обманутое ожидание, уязвленное самолюбие, неудача в посольстве несказанно взволновали Устю; она несколько минут сидела неподвижно, подобно каменному изваянию; затем быстро вскочила, пробормотала матери несвязное прощальное приветствие и скорыми шагами вышла из-под нашего крова, очевидно унося такой ад в душе, что я не решился напомнить ей о забытом пучке богородицыной травки.

С этого вечера образовалась под предводительством Усти партия недовольных.

Увы! кто же может испечь пирог на весь мир, читатель?

Впрочем, недовольство это было затаено, насколько позволял затаить пламенный нрав предводительницы, и наружная любезность не пострадала. Так, например, когда Софроний перешел в свою избу, Устя пришла поздравить его с новосельем, причем ограничилась одним только ядовитым намеком, сказанным с милою шутливостью: при обычном пожеланье различных благ на новоселье она вместе с ними пожелала ему от щедрот господних храбрости хоть с ноготок.

– Спасибо, – ответил Софроний, – да, надо полагать, творец небесный всю ее вам отдал: и с ноготок не осталось для прочих.

В тоне его ответа была тоже шутливость и ни малейшей злобы.

Много приятнейших часов провел я сначала на постройке, а потом в отстроеном жилище Софрония. С какою ревностью я месил глину, волок кирпичи, таскал воду, носил, изнемогая под их тяжестью, охапки соломы! С какою заботою наблюдал, прямо ли укреплена

полка, прочно ли стоят ножки у стола! Никогда впоследствии не дало мне столь живого удовольствия даже чувство собственника, воздвигающего свой «собственный» кров! Никогда я не бывал так доволен и горд, расхаживая по «своему» жилищу! Быть может, потому, что уж знал тщету, непрочность и тлен всего земного. Могу сказать, я любил «хижку» Софрония, как нечто живое и одушевленное.

Софроний обращался со мной благосклонно, и, что было для меня всего драгоценнее, в его обращении не выражалось ни столь несносного для детей подтрунивания, ни высокомерного, хотя мягкого и ласкового, одобрения, ни чрезмерного снисхождения и в то же самое время небрежности. Когда какой-нибудь зритель, глядя на мое усердие, говорил: «Славный малец! славный! Смотри, какво работает! Вот так работник! Ай да молодец!» – Софроний обыкновенно отвечал на эти необычайные похвалы просто и серьезно:

– Ничего, понемногу приучится. Сразу мастером никто не бывал.

Если я брался что-либо для него делать, то он принимал это не как детскую пустую забаву, а как настоящую, хотя и плохую работу, ценил труд и усердие, не допускал небрежения, критиковал без досады, а вместо расточения похвалы кратко говорил: «идет!» или: «годится!»

Я все более и более прилеплялся сердцем к Софроню. Единственно поглощенный его неопценным обществом и честью помогать ему, насколько хватало моих сил, я пренебрегал всеми осенними сельскими утехами.

Наступила зима, пора, как я уже выше упоминал, самая для меня унылая. Так как число барашковых овчинок, собираемых отцом мне на тулупчик, увеличивалось с чрезвычайною медленностью, а я рос с быстротою луговой травы, то вышло, что и на эту зиму я был осужден судьбою на домашнее заключение. Прежде я в подобном положении услаждал себя краткими вылазками, доставлявшими мне более волнения, чем удовольствия, но теперь имел великую отраду посещать Софрония и проводить иногда у него долгие часы, занимаясь чинкою невода, или плетением сети, или деланием зарядов.

Я еще и донныне живо помню, как я, завернувшись в родительские одежды, дрожа от пронимающего насквозь холода, а еще более от радостного нетерпения, торопливо перебежал, спотыкаясь в больших сапогах, небольшое пространство, отделяющее нашу ветхую хижину от Софрониева жилища!

В одно из моих посещений мы с Софронием заняты были плетеньем сетей на куропаток. День был солнечный, теплый. Подняв нечаянно глаза вверх, за стайей чирикавших воробьев, я вдруг увидал, к величайшему моему изумлению, полноликий образ Ненилы, выглядывающий из отверстия в поповой кровле. Оправившись от изумления, первую мою мыслью было: «Ах, если бы вместо этого лица показалось другое! Но нет! То никогда не покажется!»

И точно: то никогда не показалось.

Тут впервые я углубился в думу о том, как неприятны распри человеческие, какое огорчение они могут причинять и как бы хорошо могли жить люди в братской любви и мире.

– Посмотрите, откуда попова Ненила на нас глядит! – сказал я Софроню, указывая ему движеньем головы на попову кровлю.

На что Софроний, бросив беглый взгляд по указанному мною направлению, спокойно отвечал:

– Пускай себе поглядит: не сглазит. Мы захотим, так и мы на нее поглядим.

– А Настя не глядит, – сказал я и с тайным упованием услышать что-нибудь успокоительное и поддаваясь желанию облегчить свою думу разговором о милой мне девице.

Но Софроний или нашел мое замечание праздным, не стоящим ответа, или пропустил его мимо ушей. Он был в этот день вообще озабочен.

– Настя совсем не похожа на Ненилу, – сказал я, не отступивший при первой неудачной попытке.

– Да, не похожа, – отвечал Софроний.

Я искоса глядел на него, стараясь по лицу его угадать, насколько враждебно отнесется он к пленившему меня неприятелю, и заметил, что на его устах мелькнула, как молния, улыбка, – улыбка, какая бывает при внезапно явившемся среди заботных дум и тяжелых мыслей приятном воспоминании: она вдруг озарила его лицо, подобно тому как яркий луч солнца, пробившись из-за туч, озаряет покрытую тенью равнину.

– Настя веселая, добрая, – сказал я, ободренный вышепомянутою улыбкою.

Для выражения пленительности ее и добродетелей в моем детском словаре не нашлось иных слов, кроме «добрая» и «веселая», и только это заставило меня быть кратким в изъяснении похвал.

– Ты разве ходишь к ним? – спросил Софроний. – Кажется, ты туда не заглядываешь?

– Нет, я не хожу, только Настя со мной как встретится, всегда разговаривает...

Тут я запнулся, вдруг вспомнив, что с последней встречи в лесу я видал ее только издали и что в реченную встречу она не подарила меня ни словом, ни даже взглядом. Я вдруг исполнился уныния и замолк.

Поведи Софроний этот разговор дальше, я, может статься, высказался бы, по свойственной всем смертным, как великим, так и малым, слабости духа и жажде сочувствия, но Софроний не расспрашивал более, и речь перешла на ловлю куропаток.

С этого времени я всегда в ясные, погожие дни усматривал дегтеобразную голову Ненилы, созерцающую с высоты кровли наше окно.

Таково действие тиранства! Ненила, невинно лишенная материнскою прихотью своего любимого удовольствия, сильнее почувствовала, как то всегда бывало со времен прародительницы нашей Евы, влечение к запретному плоду, что пробудило в ней дремавшую и, быть может, навсегда бы уснувшую хитрость и развило дух противоречия, который побудил ее, не страшась опасности, провертеть дыру в отчей кровле и тайно наслаждаться несправедливо отнятою у ней забавою.

Так обманут бывает рано или поздно всякий тиран, самый зоркий и лютый. Тщетно налагает он оковы и заставляет впереди зреть кару, следующую за преступлением его воли: дух свободы, прирожденный смертному, во всяком, каков бы он ни был, сказывается и побуждает раба теми или иными путями противоборствовать!

Изредка, вечерами, Софроний приходил к нам и беседовал с отцом и матерью: Сколь много значит присутствие умного и живого человека! Софроний и в нашу всегда печальную обитель вносил с собою некое оживление и веселие. Истинно можно сказать, что умница и дверь иначе отворит, чем обойденный этим высшим даром Божиим. Речи, которые Софроний вел с моими родителями, не бывали особенно замысловатого содержания, а между тем имели чрезвычайную занимательность и открывали пытливому детскому разуму, как бы случайно, многие, дотоле ускользавшие, стороны жизни. Я, при речах прочих гостей и даже любезного мне родителя моего начинавший после получасового испытания чувствовать томление души и тела и прерывать беседу их челюстераздирающими зевками, готов был, слушая Софрония, сидеть целую ночь напролет, не сморгнув оком и только улыбаясь от полноты душевной утехи.

Но доставляющий мне столь несравненные наслаждения Софроний заметно становился с каждым днем все мрачнее и мрачнее. В движениях его начало проявляться какое-то нетерпенье, беспокойство, и он часто начал впадать в угрюмую, раздражительную задумчивость.

Пономарь, хотя реже прежнего, но все по временам забегавший к нам, однажды, влетев, как пуля, в горницу, шепнул отцу:

– Я говорил: помяните мое слово! Я говорил: несдобровать!

Затем он начал шептать еще тише, и я не мог уж ничего разобрать.

– Что ты! – сказал отец. – Тебе померещилось! Я сам видел, как он нынче поутру остановил Софрония и так с ним разговаривал...

– Целует ястреб курочку до последнего перышка! – отвечал пономарь, моргая то тем, то другим оком и с самым зловещим выражением.

Встревоженный отец в тот же вечер спрашивал Софрония:

– Софроний, чего ты закручинился? Что там у вас с ним? Говорят, он у тебя попортил...

– Не поймал, так и воров называть не могу! – ответил с некоторым раздражением Софроний.

– Ну и слава богу! ну и слава богу! Это ты справедливо говоришь... и хорошо рассуждаешь... Так чего ж ты кручинный ходишь?

– Да на свете больше печали, чем радости, а я как та Маремьяна старица, что за весь мир печалится! – ответил Софроний с улыбкою.

Но улыбка эта была исполнена горечи и не разъяснила, а еще пуще омрачила его угрюмое лицо.

– Конечно! конечно! – проговорил отец. – Больше печали, чем радости! Гораздо больше!

Он несколько раз глубоко вздохнул и вскоре затем ушел, вспомнив, что не задал скоту корму на ночь.

– Вы очень похудели, – сказала мать Софронию.

Софроний сидел на скамье, облокотился на колени и подперши руками голову. При этих словах он поднял лицо и поглядел пристально, с великою грустию, на мать.

– И вы не цветете, – сказал он.

– А вы плохих примеров не берите! – сказала мать улыбаясь.

Она как бы шутила, но из-за шутки слышалось столько живого участия, что даже я, бессмысленный отрок, был этим взволнован.

– Что такое случилось? – прибавила она.

– Что случилось? – почти вскрикнул Софроний, быстро поднимаясь со скамьи. – То, что случается вот уже целую зиму! Он мне покою не дает ни днем, ни ночью! Мне не волчьих капканов жаль, не плетня, а жжет меня обида! Что я ему сделаю? Он за тремя оградами сидит!

При этом Софроний с такою страстию ударил кулаком по столу, что стекла в окошках задребезжали.

– Он нарочно вас дразнит, – сказала мать.

– Знаю! Знаю! Ведь каждое его подлое слово меня словно каленое железо жжет, а я все молчу! Уж мне горло сдавило!

Он подошел и сел около матери, на лавке.

– Я думал: брошу, уйду – да нет! Будет заедать другого, третьего – останусь! Сам пропаду, а его...

В эту минуту послышался в сенях кашель возвращавшегося отпа. Софроний встал, сказал «прощайте» и направился к двери.

Мать тоже встала.

– Софроний! – сказала она.

Он приостановился, а она сделала несколько шагов к нему и с глубоким волнением проговорила:

– Вы себя поберегите! Уж сколько хороших людей... Голос ее прервался, и слезы хлынули из глаз, но она тотчас отерла их, овладела собою и договорила:

– Уж сколько хороших людей даром пропало! Вы не отступайтесь от своего, только будьте осторожны! Будьте осторожны!

– Спасибо, – ответил Софроний. – Я буду осторожен. Я...

Отец отворил дверь и не дал ему договорить.

– Куда ж так рано? – спросил отец. – Положи шапку да еще посиди.

– Нет, – ответил Софроний. – До другого разу!

И ушел.

– Беда, да и только! – сказал отец. – Пономарь что рассказывал, слышала?

Мать снова сидела прилежно за шитьем, но лицо ее горело, и руки слегка дрожали.

– До трех раз, говорит, Софроний ставил плетень, – глядь! за ночь опять повален! Ах, царь небесный! заступи и помилуй нас грешных!

Отец повздыхал, побряхтел и вслед за тем задремал. Но мать долго работала. Я видел, что она несколько раз поспешно отирала вдруг неудержимо прорывавшиеся слезы.

Не довольствуясь догадками, я решился уяснить себе все дело. Вооружившись всем хитроумием, которым меня наделило провидение, я через несколько дней узнал, что неизвестным зложелателем испорчено у Софрония ружье, затем обвален троекратно плетень, затем опрокинуты поставленные на волков капканы и причинено сотни мелких, но несносных неприятностей в этом же роде.

После вышеописанного несколько недель прошло благополучно: тайный зложелатель или удовлетворился уже причиненным, или же удерживаем был опасением, ибо Софроний, починив ружье, держал его постоянно при себе заряженным, да и вообще происшествия эти сильно всех заняли, каждому хотелось дознаться правды, и каждый был более или менее настороже.

Но этим благополучным теченьем дел Софроний отнюдь не был успокоен. Ему, как человеку крайне раздраженному, уже не требовалось новых поводов для гнева и волнений; прежние маленькие, но ядовитые уколы теперь разболевались все сильнее и сильнее и, сначала более изумившие, чем уязвившие, теперь начали мучить самым несносным образом. Раздражение Софрония видимо росло с каждым днем.

Хотя он попрежнему относился ко мне с благосклонностию, но некий внутренний голос поучал меня, что надо оставить его в покое. Покорясь помянутому внутреннему голосу, я с болью сердца прекратил свои посещения. Софроний тоже почти перестал ходить к нам. Кроме того, я заметил, что отец мой в те редкие часы, когда Софроний бывал у нас, смущался, заикался и вообще представлял вид человека, попавшего между двух огней, что он теперь только по робости и кротости не бежал от лица Софрония и что вздыхал свободно при его удалении. Это открытие исполнило меня великого огорчения.

Пономарь стал вести себя относительно Софрония с таковым же малодушием, но, как человек увертливый, привыкший к коварству с давних пор, вел себя искуснее. Тогда я со страхом обратил испытующее око на мать, но тут был посрамлен за свои подозрения: мать на маковое зерно не изменилась к Софроню. Напротив, она даже сделалась как бы дружелюбнее; при редких их встречах всегда с ним, с несвойственной ей словоохотливостию, разговаривала и своими разговорами не раз успевала несколько разъяснить его мрачное лицо и вызвать хотя томную улыбку на сжатые гневом уста.

Так эта зима, вначале подарившая меня отменно приятными часами, впоследствии превзошла унылостью и томлением все ей предшествовавшие, ввергла меня в сугубую тоску и даже многократно заставила проливать горькие слезы.

Никогда, казалось мне, весна так не замедляла своего пришествия, как в этот год. Дрожь нетерпения пробегала по всем моим членам, когда я взирал на медленно оседавшие сугробы снега.

Наконец я мог приветствовать журчанье полой воды, пробившиеся под заборами мягкие яркозеленые иглы молодой травки и первый теплый весенний дождь.

Наступление весны воскресило упавший дух мой. К тому же Головастик (о котором я уж упоминал в конце второй главы этих записок) за зиму значительно подрос, окреп и мог теперь выносить тяжесть восьмилетнего всадника.

Скоро Головастик сделался единственным моим утешением. Утомленный постоянно царствовавшими, хотя не явными, но чувствуемыми смутами, я искал от них отдохновения в наездничестве и, с ясного рассвета до багряного заката, скакал по лесным тропинкам, по прибрежью и даже проникал за черту терновских земель.

Наступил торжественный и любимейший мною праздник пасхи. Я, как теперь, впиваю напитанный первыми весенними ароматами воздух тихой темной ночи, внимаю говору со всех сторон стекавшегося в храм, невидимого в ночной мгле народа, слышу полуночный благовест, смыкаю вежды от блеска вдруг засиявшего множеством свеч храма и вздрагиваю от потрясшего ветхие своды звучного и мощного голоса Софрония, который покрыл собою медовое пение отца Еремея и дребезжащие возгласы моего отца.

При всеобщих праздничных одеждах и братских целованиях Софроний поразил меня своею бледностью и мрачно горящими взорами.

Очи отца Еремея, напротив того, сияли благостью, ласковое лицо кротко улыбалось, и даже его борода, казалось, ложилась на исполненную христианской любви грудь какими-то особенно мягкими волнами.

Попадья, украшенная смесью желтых и малиновых одежд, пробивавшая правым плечом, как ломом, путь в тесной толпе, с оглушительным чмоканием троекратно христосовалась с прихожанами и обирала подносимые ей пасхальные яйца. За нею следовала лепообразная Ненила, сияющая серьгами, ожерельями, запястьями, перстнями и обозначавшая шествие свое не менее громким чмоканьем и не менее для народа отяготительным сбором пасхальных яиц. Настя, как меньшая, долженствовавшая, по обычаю, не затмевать, а выставлять красоты старшей сестры-невесты, не поражала блеском золотых украшений. Я с трудом следил за нею, пробиваясь сквозь толпу. Живая, стройная, она, как легкая серна, проскользнула к боковым дверям, приостановилась, поднялась на цыпочки, с минуту кого-то искала блистающими очами, судя по изменению лица, нашла, несколько мгновений пристально созерцала, затем скользнула в двери и скрылась.

Меня, следившего за нею с тайным упованием прежних ласк, она не заметила.

Так как к терновскому приходу принадлежат некоторые ближние хутора и деревушки, то дележ яиц, собранных церковным причтом, совершается только на второй день праздника, вечером. Обыкновенно собранная добыча привозится на попов двор, куда являются и дольщики. У нас, в наших краях, положение следующее: если священнику «десяток», то дьякону «осьмик», дьячку «пяток», а пономарю «тройка», но отец Еремей давно изменил это общее положение, чему весь причт безропотно покорился, ограничась тихими вздохами и домашними жалобами.

Я всегда любил следить за этим дележом и в описываемый мною момент не замедлил занять свой наблюдательный пост.

У попова крыльца стояла телега с добычею, а на земле четыре, различной вместимости, шайки; на крылечных ступеньках сидела попадья, а рядом с нею Ненила (попадья была в столь мирном и ясном настроении, что даже приветливо поклонилась появившемуся в воротах Софроню); пономарь вел с нею льстивые речи; мой отец робко стоял в стороне, а приблизившийся Софроний мрачным оком оглядывал расставленную посудину для принятия доли каждого.

Ждали появления отца Еремея, и он вскоре появился в лиловом подряснике и шитом гарусами поясе, поглаживая бороду и чадолюбиво окидывая взором присутствующих.

Благословив каждого, он приказал с осторожностью вынуть из телеги лукошки с хрупкою добычею и начал, во имя отца и сына и святого духа, ее делить таким порядком: священнику, дьякону, дьячку и пономарю. В первом случае персты волшебным образом удлинились, длани чудодейственно расширились, и он захватывал по пяти яиц в каждую руку, во втором же случае персты его мгновенно сводило, длани сжимало, и он только с великим, повидимому, затруднением мог удержать по три яйца в руке. В третьем случае правая рука удерживала только два яйца, а левая, как бы пораженная бессилием, захватывала одно. В четвертом случае действовала только одна правая, опускавшая в пономарскую шайку одинокий белый шарик.

Дележ, совершавшийся в глубоком безмолвии, окончился; отец Еремей выпрямился, откинул назад роскошные пряди волос, погладил бороду и готовился обратиться к присутству-

ющим с какой-то приветливою речью, как вдруг Софроний быстро к нему приступил и спросил громовым голосом:

– Так у вас такой дележ?

Я глянул на него и замер; вид его напомнил мне грозного архангела, подъявшего огненный меч и готового покарать с пламенною ревностию богопротивных смертных.

Отец Еремей побледнел и затрепетал. Попадья вскочила со ступенек с громким криком; даже Ненилу подняло. Прочие пятились в ужасе.

– Софроний! – начал, несколько оправившись, отец Еремей торжественным, хотя сильно изменившимся голосом.

Но он не кончил.

– Вот она, пастырская часть! – вскричал яростно Софроний, и, прыгнув, как свирепый тигр, в попову шайку, доверху наполненную яйцами, он принялся неистово топтать их ногами, превратил в безобразную яичницу и удалился, залепленный по колени желтками, оставив всех в оцепенении.

Глава пятая

Встреча

Любезный читатель! Всегда меня приводили в немалое изумление те несообразительности, какие выказывают самые дальновидные, и ошибки и промахи, какими испытуются самые мудрые. «Бог попутал», – говорят при таких случаях у нас в Тернах. Вполне принимая это положение, я тем не менее старался объяснить себе любопытное явление и, после многих размышлений, пришел к заключению, что смертные, по нашему же терновскому несколько жестокому выражению, «зарываются», или, говоря языком более изысканным, зазнаются в среде, низшей им по уму, хитрости или могуществу. Муж или жена, постоянно живущие между собратиями сравнительно скудоумными или уже уступающими им в значении, мало-помалу начинают много мечтать о себе и возноситься превыше всех общепринятых обычаев и даже законов. Самоуверенность их и гордость растут, и, наконец, они так заносятся, что начинают жить спустя рукава, не заботясь о том, что чувствуют и думают их окружающие, уповая, что все им будет сходиться с рук благополучно. Ум, обыкновенно изошряющийся в борьбе или соревновании с равными, начинает глохнуть в бездействии, как запущенная нива, и рано или поздно повторяется простонародная легенда о самовластительном некоем богатыре, который говорил о своих врагах: очень мне нужно головку свою богатырскую трудить да придумывать, как с ними справиться, – пойду и просто кулаком пришибу! Пошел, замахнулся, но восходящее солнце ударило ему прямо в глаза ярким лучом, и он промахнулся, а промахнувшись, покачнулся, не удержал равновесия и слетел в бездну, над которой происходила встреча с врагом.

Такова история отца Еремея. Невзирая на всю свою изворотливость и прирожденное, можно сказать, сверхъестественное искусство в коварстве, он был, однако, поруган первым на него восставшим.

Пример отца Еремея еще не так разителен, ибо явился соперник его достойный: сколь первый обилён был коварствами, робостию и темными пятнами совести, столь же последний удивлял отвагою, честностью и непорочностью души; шансы боя были сомнительны. Но есть несчетно случаев, несравненно поразительнейших, где, так сказать, величественные юпитеры посрамлены бывают и повергаются в прах простодушными и бесхитростными свинопасами.

Неистовство Софрония, описанное мною в предыдущей, четвертой главе, поразило всех столь сильно, что всюду воцарились тишина и безмолвие. Как бы считая всякие слова и речи недостаточными для выражения этого события, все сомкнули уста. Пономарь уже не прибегал более через конопляники к нам под окно высказывать свои чувства и сообщать сделанные им наблюдения; попадья пребывала в молчании и распорядилась по хозяйству более знаками, как бы лишенная употребления не только голоса, но и языка; отец мой даже не вздыхал, а только осенял себя крестным знаменем. Все находились как бы в чайнии грозы.

Прошло, однакоже, более двух месяцев, а гроза не разражалась. Я за последнее время, к великому моему прискорбию, совершенно отстал от общества Софрония; он даже перестал ходить к нам, и я только издали видал его иногда отправляющегося с ружьем в лес, угрюмого, как мне казалось, и мрачного; шел он обыкновенно понурив голову, как бы в печальной задумчивости, и тихо насвистывал одну из любимейших местных древних воинственных песен: «Не иди, не иди, вражий дуко, де голота пье!» Я страстным взором следил за ним из-за какого-нибудь куста, но не осмеливался приблизиться. Удерживал меня не страх, а почтение; хотя невинный отрок, я инстинктивно чувствовал, что ему не до меня.

За все это время я из-за какой-нибудь засады несколько раз наблюдал проходившего в поле или сидящего на крыльчке отца Еремея. Наблюдения показывали, что он наружно тих и благ и занят или хозяйственными полевыми распоряжениями, или же благочестивыми, повидимому, размышлениями, однако несколько утратил телесной полноты и румянца.

Более двух месяцев, как я упомянул, длилось всеобщее, так сказать, оцепенение, но мало-помалу оно начинало проходить, и, наконец, наступил день, когда снова окрестность огласилась яростными восклицаниями попадья, и эхо ущелий повторило отрывки ее проклятий.

В первый раз в жизни я приветствовал этот пронзительный голос веселым рукоплесканием: мне почему-то казалось, что он выведет всех из очарованной неподвижности и возвратит прежнее оживление, разговоры, разнообразные, хотя и мелкие волнения, утехи и прелести жизни.

Но я ошибся. Не только для всех прочих, но даже для меня попадья вдруг утратила прежнее свое значение. При ее криках я уже теперь не содрогался, сердце мое не начинало трепетать, как пойманная птичка: они докучали мне – вот и все, и самым сильным выражением моих ощущений в этом случае было то, что я, плюнув, говорил или думал: ведьма! и хотя попрежнему бежал от лица ее, но уже не задыхаясь от волнения, а только гонимый досадой и неудовольствием.

Так, в одно погожее воскресенье, я, тисая обмануть ее зоркие очи, крался ползком под тыном, желая проникнуть в лес, где; обольстительница-надежда сулила мне спелую землянику, птичьи гнезда и тому подобные любезные мне предметы. Презирая ужалы крапивы и уколы терний, росших в изобилии на всем пространстве выгона, изредка осторожно высовывая голову и наблюдая, где расположен неприятель, я благополучно достиг опаснейшего пункта, именно купы дубков против попова крылечка; тут я приостановился, обзрел кругом местность и прислушался.

– Чтоб тебя колесом свело да по болотам разнесло! – доносилось по тихому, теплему воздуху с попова огорода. – Безрукая кукла!

По свойственному смертным себялюбию я свободно вздохнул, забывая злополучие работницы Лизаветы, находившейся в данную минуту под громами Македонской, и порадовался своей удаче. Я поднялся, начал насвистывать, подражая пенью малиновки, и несколько минут глядел на попово крылечко и на окна с не покидающим меня упованием хотя на единый миг увидеть Настю.

Но я ее не увидел и, желая стряхнуть с себя тоскливое чувство, пустился легкой рысью, добежал до опушки и вдруг остановился, поражен и трепетен.

На замшелом пне сидела Настя и пристально, в задумчивости глядела на дорогу, черной змеей извивавшуюся по зеленому бору. Она, изумлявшая всегда огнем веселых очей, сверканьем снегоподобных зубов, юркостью движений, сидела неподвижно, подобно мраморному изваянию. Никакого блеску в карих очах; уста сжаты; щеки побледнели; подперла голову рукой...

После многих колебаний я решился к ней подойти ближе, делая вид, будто ее не замечаю. Я даже попытался насвистывать, но, удушяемый волнением, должен был ограничиться только робким кашлем.

Она вздрогнула, быстро привстала, но, узнав меня, как бы успокоилась и опять села.

– Это ты, Тимош! – сказала она; легкая, не прежняя, а новая какая-то улыбка скользнула по ее устам. – Куда ты?

– Я в лес, – проговорил я, восхищенный и вместе растроганный ее приветом.

– Пойдем вместе! Она схватила меня за руку своей гибкой, цепкой рукой и вдруг снова обернулась в прежнюю Настю: глаза заискрились, белые зубы сверкнули, румянец вспыхнул.

– Бежим!

И помчалась по дороге, увлекая меня за собой, как увлекает живой, неукротимый поток легкий древесный листик.

Когда, наконец, она остановилась и я, переведя дыхание, опомнился и взглянул на нее, то предо мною стояла совсем прежняя, ослепительная весельем, живостью и прелестью Настя.

– Что ж ты на меня смотришь, как козел на новые ворота? – спросила она. – А?

Я потупил глаза и ничего не дал ей в ответ кроме улыбки – улыбки, которая, мню, не могла внушить похвального мнения о живости и остроте моего ума.

– Опять сызнову надо с тобой знакомиться? Опять ты меня боишься? Ну, знакомься! Ну, целуй!

С быстротою кобчика, кидающегося на добычу, я исполнил это, для меня приятнейшее, приказание,

– Ну, теперь давай ягод искать! Кто скорей найдет!

Она замелькала между деревьями, в один миг исчезла за их зелеными кущами, а еще через миг раздался ее сладостный голос.

Я как теперь слышу эту голосистую песню, звонко разносящуюся по свежо шумящему лесу:

Как задумал старый дед
В другой раз жениться, –
Сел-сел, думал-думал:
Задумал жениться!
Как старую, взять мне,
Не будет служить, –
Сел-сел, думал-думал:
Не будет служить!
Молодую взять мне,
Не будет любить, –
Сел-сел, думал-думал:
Не будет любить!
А хоть и полюбит,
Так не поцелует, –
Сел-сел, думал-думал:
Так не поцелует!
А хоть поцелует,
Отвернется, плюнет, –
Сел-сел, думал-думал:
Отвернется, плюнет!
Что у тебя, старый дед,
Козлиная борода!
Сел-сел, думал-думал:
Козлиная борода!
И совины очи,
Поганы до ночи!
Сел-сел, думал-думал:
Поганы до ночи!

Настя слыла у нас сладкогласнейшею певицею, и я, с отроческих лет пристрастный к пению, часто с отрадою слушал, как она в своем саду усладительно призывала: «Ой, вернись, мое сердце, из походу», или вопрошала: «Скажи ты мне правду, пташечка малая, кому лучше, кому легче в свете прожить?», но никогда, казалось мне, еще не пела она с таким совершенством. Злополучный старый дед, с своими тяжкими недоумениями и беспомощностью, встал передо мною как живой, и я, то предаваясь по поводу его веселию, то трогаясь жалостию, даже забыл о приманчивой землянике.

Вдруг песня оборвалась, и я услышал:

– Ау, Тимош! Ау!

– Ау! – ответил я.

– Сюда! сюда!

Я кинулся на зов, как легконогий заяц, но пробежав значительное пространство и в поспешности исцарапав лицо древесными сучьями, приостановился: ничего, куда ни глянь, кроме яркой зелени куш.

– Ку-ку! Ку-ку! – раздалось как раз около меня, почти над самым моим ухом.

По терновскому преданию, кукушка – злополучная царевна, проклятем родительницы обращенная в пернатую жительницу лесов, не может утешиться и, кукуя, проливает человеческие слезы об утраченном счастье и достоинстве. С простодушием, свойственным терновцу, я веровал в эту легенду и потому, затаив дыханье, жадно устремил взоры в высоту, стараясь проникнуть в сень дуба, увидеть падающую слезу, подставить во-время под нее ладонь и приобрести таким образом прекрасное серенькое зернышко, в которое превращается горькая слеза проклятой царевны.

Вдруг раздалось звонкое «ку-ку» с противоположной стороны, раздвинулись кусты, и между их ветвями появилось бесподобно смеющееся Настино лицо.

– Ку-ку! Ку-ку! – прокуковала она еще раз и, утешаясь моим изумлением, тут же с необычайным и завидным мне искусством прокаркала зловещим вороном, прочирикала задорным воробьем, прокичкала чайкой, пропела иволгой, прошебетала соловьем, процокотала сорокою. Затем она вдруг чудодейственно преобразила свой пленительный лик, и я, как в водах прозрачного потока, узрел самого себя, с высоко поднятыми бровями, с полуотверстыми устами, с выраженьем блаженнейшего изумления в каждой черте.

Последнее представление, впрочем, меня несколько смутило и заставило проворно сжать уста и принять на себя глубокомысленный вид.

– Ну-ну! Ты не сердись, Тимош! – сказала Настя. – Лучше ты глянь-ка сюда!

Она схватила меня за плечо и ловкой рукой перекинула, как тяжелый мешок с отрубями или чем подобным, на круглую прогалинку, где взорам моим представилось целое море спелой, алой земляники.

– А что? – спросила Настя: – а что?

Глухое рычанье выразило мои чувства: от силы их голос у меня пресекался.

– Ну, что ж ты? – вскрикнула Настя. – Обомлел? Ну, с тобой журавля не поймашь! Принимайся, а то я все проглочу! Ты собирай в брыль,⁴ а я в лист, – кто больше наберет! Что в рот, то не считается!

В мгновение ока она отыскала широкий лопух, сорвала, сложила продолговатой мисочкой и присела к ягодам.

Я, с своей стороны, ревностно принялся за приятную эту работу.

В короткое время мы словно сдернули алую скатерть с травы. У Насти был полон лопух, у меня полбрыля свежего, ароматного лакомства.

– Ну, теперь угощаться! – сказала Настя.

И она столь проворно уничтожила свои ягоды, что я усомнился, не сыпнула ли она их одним махом за плечо, в кусты.

– Ах, еще бы! – проговорила она, с упоеньем облизываясь, прислоняясь к корню дуба и закрывая глаза. – Ах, еще бы!

Полагаю, евреям в пустыне не так сладка была манна небесная, как мне, в то время отрочества, земляника, однакоже без малейшего колебания, с радостной готовностью я протянул Насте свое сокровище, говоря:

⁴ Брыль – соломенная, с широкими полями шляпа, какие с изрядным искусством плетут терновские жители. (Прим. автора.)

– Вот!

Она открыла глаза, разинула рот и сделала вид, будто все хочет поглотить.

Но я только засмеялся и ближе поднес к ней брыль.

– Что тебя обижать! – сказала Настя. – Ешь сам!

– Я сам не хочу! – ответил я. – Я не стану есть.

– Не станешь?

– Не стану!

– И я не стану, – кто ж съест?

Земляника вдруг потеряла для меня всю свою цену и значение, и я замахнулся, чтобы пустить ею, как дробью, по ближайшим кустам.

– Ай-ай! – крикнула Настя, схватывая меня за руку. – Ах ты, завзятый какой!

Я робко, искоса, на нее глянул, но не заметил гнева, – напротив, ласковый, смеющийся взгляд и улыбку – и ободрился.

– Давай вместе есть – согласен?

Я был согласен.

Воспоминания эти не утратили нисколько своей живости: я как бы еще чувствую прохладу лесной кущи, чувствую свежий вкус душистой ягоды и вижу цветущую девушку перед собою; я даже помню золотой луч, проникавший тонкой иглою между дубовыми ветвями и игравший на пышных, слегка припавших лесной паутиной, слегка спутанных бегом, косах, и кудрявившуюся шелковистую прядь, свившуюся в колечко за тонким прозрачным ушком.

– Спасибо! – вдруг сказала Настя и поцеловала меня.

Я, уже без приглашения, покорный сердечному влечению, с горячностью прижался к ее устам.

– Ишь, как клещ впился! – сказала Настя. – А признайся мне, кого ты больше всех любишь?

– Маму, – ответил я без запинки.

– А потом?

– Вас.

– Ах ты, замазура!

При этом она вдруг взъерошила мне волосы горой и быстро, так сказать, сыпнула на меня несколько поцелуев.

– Ну, а потом?

Я не смел произнести имени Софрония и смутился.

– Говори! Говори, кого?

Морда утешителя-Головастика предстала предо мною, но я понимал неудобство и этого признания.

– Отца, – ответил я.

Настя пристально и, как мне показалось, с недоверчивостью на меня поглядела.

– Смотри! Смотри! – сказала она. – Чтоб тебе на том свете горячей сковороды не лизать!⁵

Я вообще ко лжи не склонен; ложь мне несносна даже тогда, когда она употреблена наименее виновным образом, например когда говорится докучному смертному, что голова или зубы болят, дабы обрести желанное уединение, или когда ею устраняются наглые выпытыванья о чужих делах, но лукавствовать с особой, к которой стремится мое сердце, мне так же отвратительно, как положить себе трех скорпий в рот.

Но каково признаваться, когда знаешь: признание лишит тебя драгоценнейшей утехи, что день превратится в тьму, ликование – в стон!

⁵ (По терновским верованиям, лжец, в возмездие за свою ложь на земле, будет осужден лизать горячую сковороду в загробной жизни; для клеветника же там уготована не простая сковородка, но усаженная острыми шипами.)

Борьба моих чувствований, надо полагать, довольно выразилась на моей физиономии, ибо Настя, улыбаясь, сказала, – глаза мои были опущены в землю, но я по ее голосу слышал, что она улыбается;

– Скородода еще за горами, и покаяться время есть. Ну, кайся!

Она взяла меня за подбородок и повернула к себе так, что когда я, в томительной нерешимости, поднял взоры, то я попал, так сказать, под прямые лучи ее темных прекраснейших глаз.

– Ну, кайся! – повторяла она: – ну, кайся! Ну, кого ж после мамы?

Я исполнился вдруг мужества и хотя тихо, но явственно ей ответил:

– Софрония.

И, ответив, замер, ожидая мгновенного затмения радующего меня солнца.

Но солнце продолжало сиять во всем своем блеске.

Я не смел этому верить; я думал: зрение твое помутилось от волнения чувств, и тебе представляется уже отлетевшая навсегда лучезарная приветливость и ласковость.

«Так ли я слышу? – думал я. – Точно ли ее голос по-прежнему мягок и точно ли слова ее такие».

– А! скородода-то, видно, не свой брат! Отчего ж это ты не признавался сразу? Словно какую королеву любишь – в лесу и то боишься имя вымолвить! Отчего сразу не признался?

– Я думал, вы на меня рассердитесь, – ответил я, еще волнуясь, но уже чувствуя, что страшная пропасть перешагнута и что я становлюсь снова на твердую почву.

– Я рассержусь? Это за что же?

– Да ведь он...

– Ну, что ж он?

Она глядела мне в лицо, она улыбалась; с изумленьем и восхищеньем я видел, что враждебных чувств к Софронии у нее нет.

В приливе восторга я, вместо ответа на ее допытыванье, с жаром принялся за хвалебную песню Софронии. Певец юный, неискusstный и пламенный, я надсаживался изо всей мочи; но, как теперь соображаю, выводил только нотки крикливые и дикие. Я, помню, приводил ей как доказательства достоинств Софрония его прекрасное чтение псалтыря, его искусство в охоте, занимательность его разговоров, силу его мышц и т. п.

Настя слушала меня благосклонно, задавала некоторые вопросы, делала замечания, но чаще всего выражала свои сомнения.

– Неужто так уж хорошо рассказывает? – говорила она. – Да ведь и прежний дьячок-покойник хорошо читал – будто еще лучше читает? Вправду силач такой? Да тебе это, может, так только кажется!

Но выражаемые сомнения были такого свойства, что они ничуть не обдавали холодной водой моего пылу, ничуть не подрывали моего веселья, напротив, я только азартнее доказывал и чувствовал себя все бодрее и самоувереннее.

Но вдруг, к неопisanному моему огорчению и величайшей тревоге, Настя перестала улыбаться, умолкла, задумалась, и какое-то облако омрачило ее лицо.

Я, побеждая огорченье и тревогу, хотел продолжать, но облако становилось все темнее, темнее, и голос мой пресекся.

Тогда она как бы вдруг очнулась и сказала мне:

– Что ж так замолчал? Нахвалился досыта?

И она опять улыбнулась.

Но улыбка эта совсем не была похожа на прежнюю – не обрадовала меня, а повергла в пущее недоумение и беспокойство.

– Что ж ты онемел? – продолжала Настя. – Чего смотришь на меня как на оборотня?

Она сделала головой то движение, какое обыкновенно делают люди, желая отогнать неотвязного комара или докучную мысль.

– Ну, расскажи еще! Расскажи!

Но я уже утратил все свое красноречие и снова обрести его не мог.

– Вы, может, думаете, он очень сердитый... – проговорил я.

– Думаю, очень сердитый? – возразила Настя. – Почему ж мне это думать?

– Да вот он на святой, как делили яйца... только он это не потому...

Я запнулся окончательно. Я чувствовал, что объяснить смиренномудрием превращение поповой доли в яичницу невозможно.

Настя залилась пленительнейшим, звончайшим своим хохотом.

– Как это он начал месить ногами! – проговорила она. – Как это он...

И снова раскатился свежий, неудержимый хохот, к которому присоединился и мой немедленно.

Вдруг справа раздвинулись кусты. Мы оба встрепенулись, и смех наш мгновенно замер.

Перед нами стоял предмет нашего разговора, Софроний, с ружьем на плече, с трубкой в руках; из уст его еще вылетала струйка знакомого мне крепкого табачного дыма.

Едва я его увидел, у меня блеснула мысль: как посмотрит он на этот дружный хохот с Настею? как примет мое приятельское общение с членом неприятельского стана?

На лице его не выразалось ни малейшего неудовольствия, ни малейшей суровости: напротив, мне даже показалось, что угрюмость, в последнее время постоянно его омрачавшая, как бы несколько сгладилась.

Он поклонился Насте, как порядочные люди кланяются хорошей девушке – просто и скромно, а мне сказал:

– Здорово, Тимош.

– Мы тут ягоды рвали, – ответил я. – Сколько тут ягод!

– Что тут! – отвечал он. – Вот я вчера набрел на одно место, так там просто гибель их – негде ступить.

– Верно, в Волчьем Верху? – спросил я.

– Нет, туда, к Лысому Яру.

– Покажите!

– Хорошо. Я теперь в березняк иду, так мне все равно туда дорога лежит.

Я взглянул на Настю. Я несколько раз взглядывал на нее во время моего краткого разговора с Софронием и видел, что она все больше и больше, все ярче и ярче разгорается румянцем и что она слегка отвратила лицо свое в сторону. На поклон Софрония она ответила таким же поклоном.

– Пойдемте, – сказал я, или, точнее, пролепетал, обращаясь к ней.

Сердце у меня билось жестоко. Я готовился услышать горестное для меня: нет.

Настя обернулась на мои слова, посмотрела на меня, потом взглянула на Софрония.

Софроний, уже протянувший руку, чтобы раздвинуть кусты, услышав мое приглашение Насте, приостановился и глядел на нее.

Я как нельзя яснее прочитал в его взоре, что ему Настина компания а тягость не будет.

Настя была озадачена и ничего на мое приглашение не отвечала.

Тогда Софроний сказал:

– Это недалеко – всего, как говорится, рукой подать.

Настя вспыхнула еще ярче и кивнула мне головой.

– Пойдем? – спросил я, еще не доверяя столь несравненному благополучию.

– Пойдем, – ответила она.

– Вот этой дорожкой будет ближе, – сказал Софроний – сюда, налево! Не отставайте!

И он с удивительной ловкостью и проворством начал прочищать путь сквозь чашу высоких кустов, перепутанных и переплетенных разнородной ползучкой.⁶

Я испытывал неописанную, какую-то особую, исполненную тревоги, радость. Я могу сравнить тогдашнее мое состояние с тем, когда человек, погрузившийся в свежие струи, увлечен бывает ими далее предела, дозволяемого благоразумием, но, преданный наслаждению настоящей минуты, не заботится о коварстве водной стихии, и, хотя у него мелькает время от времени мысль о поглощающих омутах, скрытых под зеркальной поверхностью, он презирает грозящую опасность и только повторяет:

– Фу! как хорошо!

И жадно плескается живящей его влагою.

Софроний, шествуя вперед, уничтожал на нашем пути все преграды, представляемые свившимися ветвями и ползучкою, с тою же легкостью, с какой борей сдувает легкие паутинки; Настя шла за Софронием. Но я за ними не следовал. В упоенье и смятенье чувств я бросался в сторону и, продираясь собственными силами между терний, сучьев и стволов, оставляя на них клочки одежд и даже собственной кожи, забегал вперед, а забежав, поджидал драгоценных спутников и с трепетом сердечным улавливал выраженья их лиц.

Вследствие неосторожного обращения с лесной растительностью, лицо мое уподобилось географической карте населеннейшего уголка земного шара, и когда мы все выбрались на прогалину, Настя, взглянув на меня, ахнула и засмеялась, а Софроний с улыбкой заметил:

– Из-за сласти не чуешь и напасти!

И затем, обращаясь ко мне, прибавил:

– Скажи мне спасибо: тут будет чем душу натешить.

Но великое, поистине необычайное обилие ягод на этот раз мало меня тронуло: я поглощен был иным.

Все мы начали собирать ягоды особняком, поодаль друг от друга.

«Заговорят ли они между собою? – думал я. – И если заговорят, то о чем будет этот разговор? Каким голосом закричала бы попадья, если бы застала нас? Глянул бы на нее Софроний попрежнему, или... или иначе как-нибудь? А если бы отец Еремей нас тут застал? Повсегдашнему бы он погладил бороду и усмехнулся? Как теперь будет встречаться Софроний с Настей? Поклонится он ей в церкви? Пойдем мы опять когда-нибудь все втроем за ягодами или это в первый и в последний раз?»

Поставляя себе эти вопросы, я, сначала жадно следивший за каждым движением Софрония и Насти, мало-помалу так углубился в разрешение их, что очнулся только при звуке Настиного смеха.

Они разговаривают! Да, в этом нет сомнения. Я вижу это не только по движенью их уст, по тому, как они слушают друг друга и как друг на друга глядят, но я слышу звуки их голосов.

О чем разговор?

Я жадно напрягаю слух, но не могу уловить ни единого слова и остаюсь поражен тем, как незаметно между ними и мной увеличилось расстояние. Вначале Софроний находился у меня по правую руку, а Настя по левую, и меня даже беспокоило, что каждый из них, как мне казалось, подвигается дальше в этих направлениях, а теперь оба они были прямо передо мною и рядом, как кумовья при крещении; я же оставался все на одном и том же месте, у широкого березового пня, где приковали меня мои размышления.

В другое время я, быть может, начал бы по этому поводу упражняться в глубокомыслии, но тогда я был слишком преисполнен удовольствия, а я не только в отрочестве, но даже теперь, в зрелых уже годах, если преисполняюсь удовольствия, то вместе с тем преисполняюсь и неко-

⁶ Ползучка – растение, стелющееся по земле или вьющееся по деревьям. (Прим. автора.)

торым легкомыслием, не много рассуждаю и предаюсь ликованию с беззаботностью и необдуманностью молодой малиновки.

В данную минуту я пламенно желал слышать разговор Софрония и Насти, и потому первым моим движением было тотчас же кинуться к ним.

Оба они встретили мое приближение, как мне показалось, наиблагосклоннейшим образом, оба тотчас же предложили мне собранные ими ягоды.

С той поры я достаточно убедился, что если двое разговаривающих угощают подошедшего незваного третьего каким бы то ни было отборнейшим лакомством, но не разговором, то этому третьему самое лучшее сделать незаметное отступление и исчезнуть; но в те дни неиспытанного отрочества я этого еще не мог сообразить и потому, с совершеннейшим спокойствием совести и ясностью духа, расположился между Софронием и Настею, и радостно волновавшие меня чувства выразились восклицанием:

– Теперь я всегда буду сюда за ягодами ходить!

– Ты думаешь, эти ягоды век будут? – сказала мне Настя. – Они через неделю пройдут.

– Эта пройдут, другие поспеют, – заметил Софроний.

– И другие скоро пройдут, – ответила ему Настя. – Наступит зима, так все прощай!

– И зимой люди живут, – ответил Софроний.

Настя ничего на это не возразила, умолкла и призадумалась.

А меня охватила печаль, и я с тоской говорил себе: «Да, брат Тимош, недолго мы поликуем! Придет зима, и прощай все! Это Настя правду сказала! Опять сиди, томись у окна да гляди, как скачут воробьи! Если даже справят тебе одежину и можно тебе будет показать нос на мороз, то все-таки это не такая утеха, как теперь. Уж тогда не ходить тебе с Настею, не встречать тебе Софрония на прогулках!»

– Пора домой, – сказала Настя.

Все мы поднялись и несколько секунд постояли безмолвно и неподвижно.

– Пора домой, – повторила Настя.

Софроний поднял с травы ружье, закинул его на плечо и поправил шапку на голове.

– Прощайте, – сказал он Насте.

– Прощайте, – ответила Настя.

Снова секунды две безмолвие и неподвижность.

– Прощай, Тимош! – обратился ко мне Софроний с такою мягкостью в лице и голосе, какой я еще до той минуты в нем не видал и даже не подозревал, что в такой степени она быть у него может.

– Мы опять когда-нибудь пойдем, – пролепетал я. – Пойдете вы?

– Пойду, – ответил он.

Но, отвечая мне все с той же умиляющей меня мягкостью, он глядел не на меня, а на Настю.

Настя, которая тоже на него взглядывала, взяла меня за руку, что послужило знаком окончательного прощания.

Софроний скрылся за чащей деревьев, а мы повернули в другую сторону, по тропинке.

Но едва мы сделали несколько шагов, Настя остановилась, обернулась, назад, приподнялась на цыпочки и стала смотреть по тому, направлению, где скрылся Софроний.

«Что, он тоже обернулся и тоже смотрит нам вслед?» – подумал я.

– Не видать? – спросил я у Насти.

Настя вздрогнула, вспыхнула, стала на ноги и поглядела на меня пристальным, испытующим взором.

Вглядевшись в меня и убедясь, что я в невинности не уступаю луговой незабудке, она рассмеялась, как-то особенно пленительно сморщила свое свежее лицо и показала мне кончик

алого язычка; затем снова схватила меня за руку и быстро повлекла за собою вперед, по тропинке.

Я горел нетерпением услышать ее суждение о Софроний, но с какой стороны я, как говорится, ни заезжал, я не мог ее на это вызвать. Она мне даже не отвечала, а только вместо ответа взглядывала на меня тем взором, каким созерцают отдаленный неинтересный ландшафт, иногда улыбалась мне или схватывала меня за щеку перстами, как в прежние недавние веселые минуты, но в этих ласках не было уже вовсе обычной шаловливости и беспечности.

Я уже тогда достаточно понимал женскую манеру беседовать, в трудные для них минуты, с людьми себе низшими или с теми, которых они за низших себе почитают. Я знал эту рассеянную ласковость, эти обманчивые проблески участия во взгляде и слове, этот взор, обращающийся на тебя, но тебя не видящий, а устремленный от тебя за тридевять земель в тридесятое царство. Все это я знал, ибо не раз бывал дома свидетелем беседы отца с матерью.

Сообразив все обстоятельства, я решил, что Настя боится, как бы ее домашние не проведали о встрече и разговоре с Софронием.

Тут предо мной замелькали представления будущего, одно другого безотраднее, и я с горестью почувствовал, сколь ненадежны и преходящи земные утехи и радости.

Сначала мы шли очень быстро, но конец пути овершили медленными шагами: я – в унынии, Настя – в задумчивости.

У выгона я приостановился.

– Что? – спросила Настя.

– Пришли, – ответил я: – к выгону пришли.

– Так что ж?

Я поглядел на нее с изумлением; на лице ее выразилось некоторое нетерпенье, и она повторила:

– Что ж такое?

– Да чтоб не увидали нас вместе, – проговорил я, запинаясь.

– А! это-то! – ответила она.

– Так я пойду через огороды, – начал было я.

Но она не выпустила моей руки и прервала меня словами:

– Вместе пойдем.

– Как вместе?

– Так, как вместе ходят – вот как теперь идем, рука с рукой. Чего ж ты упираешься, Тимош? Ведь ты у меня не краденый, и я у тебя не краденая – чего нам бояться?

Она говорила это спокойно, ровно и, видно было ясно, точно не боялась, но я, признаюсь, затрепетал. Меня вдруг, неожиданно, без всяких приготовлений, толкали в зияющую бездну!

Видя мой трепет, Настя наклонилась к моему лицу, поцеловала меня и повторила:

– Пойдем, Тимош.

Я, замирая, повиновался.

Все, благодарение всевышнему, ограничилось одними моими страхами; попово крылечко было пусто, и ни единое грозное око не видало нашего возвращения в паре, ни прощального поцелуя на границе попова огорода. Я благополучно достиг родительского крова.

Я застал дома одного отца. Увидав меня, он в тревоге привскочил с своего ветхого стула и воскликнул:

– Где ты так исцарапался? Где ты был? Ах, владыко-господи! местечка живого не осталось! Ах, царь небесный!

– Это я за ягодами ходил, – отвечал я успокоивающим тоном. – Сколько ягод в лесу! Хоть пригоршней собирай!

– Слава богу, слава богу, да вот уж очень ты исцарапался. Примочить бы тебе чем-нибудь – хоть холодной водой, что ли, а?

– Да это ничего, это не болит, – уверял я.

Но он все повторял:

– Примочить бы хоть холодной водой! Примочить бы... а?

– Где мама?

– Не знаю. Пошла, кажется, на деревню. Примочить бы, а?

Отцу моему свойственно было особого, смиреннейшего, но ужасного рода упорство. Он никогда не представлял вам своих доводов или желаний положительно, уверенно, он предлагал их в виде скромного предположения, в вопросительной форме, но вы целые дни, недели, иногда месяцы видели перед гобой эти кроткие круглые моргающие глаза, озабоченное, печальное сморщенное лицо, и дребезжащий, прерываемый робким покашливанием и тихими вздохами, голос все твердил вам какое-нибудь «примочить бы, а?» Сделайте вы, не говорю уже резкое, а только заметно нетерпеливое движение, он испугается, замолчит, отойдет, но не предавайтесь иллюзии, не полагайте, что вы отвратили от себя эту тихую пытку: только что вы успокоились, только что расцвело улыбкой ваше искаженное сдерживаемым бешенством лицо, как он снова пред вами и снова вы слышите: «Примочить бы, а?»

Я, как любимый сын и беспомощный отрок, бывал главной его жертвой и горьким опытом убедился, что самое спасительное в таких испытаниях было, если только представлялась возможность, удовлетворить его наискорейшим образом.

Поэтому я сам подал ему орудие пытки, то есть ковш воды, и покорно предоставил его дрожащим, слабым, неловким рукам совершать примочки на моем образе и подобии божем.

К счастью моему, мать скоро воротилась.

– Вот горе-то! – воскликнул отец, едва она успела появиться на пороге.

Матери довольно известна была его привычка восклицать, отчаянно вздыхать, всплескивать руками, но я сидел на лавке обвитый, как Лазарь, мокрыми убррусами, а она страстно меня любила и в любви своей была крайне боязлива и мнительна – как бывают те, кои в ранних, цветущих летах неожиданно понесли тяжелые утраты.

– Что такое? – спросила она.

Голос ее был спокоен, только тише обыкновенного, что всегда у нее служило признаком сильного волнения.

Я мгновенно сорвал с себя все убрусы и крикнул:

– Ничего, я поцарапался, только не больно. Гляди!

Я подошел к окну и стал против свету.

Мать взглянула на меня и тотчас же успокоилась. Она только усмехнулась, покачала головой и сказала мне: – Хорош сынок! словно на терке был!

И, обращаясь к отцу, прибавила:

– Это ничего.

– Ну, слава богу, слава богу, – отвечал он: – а все бы лучше еще примочить, а? Он ведь напрасно примочки скинул, а?

Милостивая судьба избрала на этот раз нам в избавители запыхавшегося пономаря, который, вбежав, объявил отцу, что приехал из Малого Хуторца колесник Щука по жене упокойную отслужить, что выехал Щука из дому рано, желая поспеть к обедне, но еще раньше Щука напился, вследствие винных паров перемешал многочисленные проселочные свертки, объездил все окружные селенья и только теперь попал в Терны, что в настоящую минуту Щука сидит у отца Еремея, плачет о своем греховном пристрастии к хмельным напиткам, просит справить заупокойную, сулит всему причту двойную плату и, кроме того, по поросенку – у него опоросилась известная в околотке породистая свинья, – а отцу Еремею он даже предлагает одного из пары волов, которые доставили его в Терны.

Пономарь быстро увел отца.

Как только мы остались вдвоем, я взобрался к матери на колени – после всех моих экскурсий и отлучек из дому мне было несказанной отрадой уместиться у нее на коленях, обнять ее и с ней разговаривать или даже просто безмолвствовать, соображая только что свершившееся, виденное, слышанное и испытанное. Итак, я взобрался к матери на колени и, приклоняя головой к ее груди, сказал:

– Я за ягодами ходил с Настею и с Софронием.

Я ожидал, что она при этом известии встрепенется, и я не ошибся.

– С кем? – спросила она, будто еще не доверяя своему слуху.

Я повторил, с кем, а затем подробно рассказал ей о встрече в лесу.

Я полагал, что сообщенные мною факты донельзя ее изумят, но она, казалось, была более встревожена, чем изумлена.

– Может, не узнают, – сказал я с тоскою. – Ты как думаешь, можно это, чтоб мы еще пошли и чтоб не узнали?

И я излил перед ней всю свою душу. Я поверил ей все свои опасения, упования, непреодолимое влечение мое к Софронию и Насте, их трогательную ко мне доброту, внимание, ласковость, попросил у нее совета, как избежать будущих грозящих бедствий, и предоставил ей разрешить заботивший меня вопрос: не запрещает ли мне долг мой, как невинно угнетаемого и попираемого, водиться с Настею, единокровной дочерью угнетателей и попирателей?

Я никогда не мог забыть любящего, задумчивого, печального взора и усмешки, с которыми она меня слушала, и как затем в неискусных словах объясняла мне, что у повинных в жестокости родителей могут вырастать невинные, не причастные их жестокостям дети, с которых взыскивать за родительские деяния было бы несправедливо, и как успокоивала, что Настя славная девушка и расположения моего достойная.

Успокоенный относительно главного вопроса моей совести, я ободрился совершенно и выразил надежду на благополучный исход наших дружеских отношений с Софронием и Настею.

– Не узнают! – твердил я. – Не узнают! Правда, не узнают?

– Нет, нет, не узнают, – ответила мать.

Но, несмотря на успокоивающее отрицание грозящего бедствия, я понял, что ласкаю себя тщетными надеждами. Тон голоса матери был именно такой, каким она в трескучие морозы успокоивала меня насчет приближения весны. Когда я после тоскливо проведенного у тусклого окошечка дня обвивал ее шею руками и в нетерпеливом унынии спрашивал: «Скоро весна?», она так же отвечала мне: «Скоро, скоро. Ложись пока спать». – «Завтра весна?» – спрашивал я, сам будучи убежден, что вопрос мой праздный и приближения весны не ускоряющий. «Завтра, завтра», – отвечала она. «Может, завтра вдруг полая вода, и ласточки станут гнезда вить, солнце будет?» – продолжал я, без малейшего упования на разлитие полой воды, прилет ласточек и весенний блеск солнца. «Да, да, – отвечала она: – и полая вода побежит, и солнце засветит, и ласточки гнезда будут вить – только усни». И я со вздохом опускал голову на подушку и старался уснуть, говоря себе: «А ведь может случиться, что каким-нибудь чудом господним завтра все желанное сбудется. Каких чудес не бывало! Вот Иисус Навин останавливал же солнце; Моисей, как бежал от фараона, разделял море, чтоб ему дорогу дало – ах, если б я тоже мог творить какие хочу чудеса! А вдруг я могу? А вдруг я сотворю?»

Увлечшись лучом надежды, хотя и слабым, чуть-чуть мерцающим, что счастье Моисеево может послужить и мне, я заметил матери:

– А если и узнают, так, может, ничего не будет. Настя не боится. Она меня прямо через выгон за руку вела. «Ты меня не украл, я тебя не украла, чего ж нам бояться», – вот как Настя сказала!

Но, не успев еще договорить этих дышащих отвагою слов, я вспомнил себя, а вслед за тем виденного мной на ярмарке зайца, стрелявшего из пистолета: как я, в минуты величайшего,

томительнейшего страха, являл, случалось, признаки завидной храбрости и как заяц, видя пред собою особу хозяина, прижимал уши и выстреливал из ужасного для него орудия.

Мною мгновенно овладело уныние.

Так или иначе понимала моя мать Настину храбрость, она, вероятно считая излишним заранее огорчать простодушного отрока и бесполезным входить с ним в недоступные его разуму рассуждения, ничего не сказала, а только с нежностью меня поцеловала и посоветовала мне заняться какою-нибудь игрою.

Тут возвратился отец вместе с пономарем, оба крайне взволнованные недостойным поведением колесника Шуки.

Колесник Шука, отрезвившись в продолжение зауспокойной от хмелю, хотя и отдал беспрекословно условленную двойную плату, но от посулки своей не только отдал вола отцу Еремею, но и наградить причт поросятами нагло отрекся, восклицая с дерзкою ирониею: «Скажите еще, что я вам своих сыновей и дочерей посулил в дар!»

– И отец Еремей все это ему спустил! – вскрикнул отец, всплескивая руками. – Нас, горемычных, за всякую малость к ответу, а вот этаких...

– Не спустил бы он, кабы не Софроний! – прервал, примаргивая левым глазом, пономарь.

– Что ж Софроний? – возразил отец. – Софрония ведь при и этом и не было!

– Не было! Да Софроний за всем следит, как легавый нес, – значит, всякую лыку ставит в строку.

– Что ж, взаправду, Софроний за птица такая, что его и иереи опасаться обязаны? – обидчиво возразил отец.

– Птичка невелика, да ноготок востер, – перебил пономарь.

– Одначе, – воскликнул отец, – всеми законами поставлено уважение к духовному сану! Коли так будут поступать, так ведь это хуже жития содомского!

Подобные отцовские речи хотя терзали, но не изумляли меня, ибо я уже уразумел тогда, что он подобен трости, ветром колеблемой, и всегда находится во власти того или другого дуновения.

Мать моя тоже давно это знала.

– Нет, что ж это такое, коли уж Софроний станет нами повелевать! – жалобно восклицал отец. – Нет, что ж это такое... Чему ж ты посмеиваешься? Что тут веселого нашел?

– Тому я посмеиваюсь, – отвечал пономарь, – что вы больно шибко Софрония в повелители наши произвели! Или вы не слышали, что передовой воин редко голову на плечах снашивает?

– Ты что-то знаешь? – спросил испуганно отец.

– Ничего я такого особенного не знаю, – отвечал пономарь тоном человека, которому именно известно «все особенное».

(Пономарем постоянно, как мячиком, играли два чувства: желание хвастнуть своими сведениями, прозорливостью и сообразительностью и страх попасться из-за неосторожного слова в беду. Почти всегда первое одерживало верх над последним, но не вполне, а частью; пономарский язык не забалтывался до полной откровенности, до подробного объяснения, а только срывались с него многие намеки, по которым вы могли сообразить или не сообразить все дело, но которые всенепременно вас озабочивали.)

– Да скажи! – начал приставать отец. – Да скажи! Разве я тебя выдам, что ли? Да скажи!

– Какие вы, отец дьякон, право, чудные! Скажи да скажи! Знаете вы одну примету?

– Какую примету?

– А такую, что затейники-ребяты недолго живут?

– Ну?

– Ну, примета эта справедливая.

– Да ты скажи мне толком! Что ж все только морочишь!

- Где ж я морочу!
 - Да ты к чему это сказал: «затейники-ребяты недолго живут»?
 - А к тому, что такая примета есть. Вы спросите у любой бабки, – правда! скажет бабка.
 - Да полно тебе! Прошу честью: скажи прямо!
 - Что ж мне прямо говорить?
 - Что знаешь!
 - Что ж я хорошего знаю? Вот разве, что Нениле Еремеевне жених находится.
 - Откуда? Кто?
 - Жених знатный. Такой, что лучше всякой саженой лестницы, – на всякую высоту через него достанешь, – понимаете?
 - А! – воскликнул отец.
 - А коли, примерно сказать, вы взберетесь на высоту, а я останусь у вас под сапогами, так вам нечего даже и каблуком притопывать: вы только ноги передвигайте, и то голову мне притопчете. Так, что ли?
 - Так, так, – отвечал отец. – Так, так!
 - В то воскресенье женишка поглядим: пожалует на смотрины. Осанист, говорят, как князь.
- Я много не разумел из этого разговора и старался вычитать на лице матери его добрый или худой смысл. Она прислушивалась внимательно ко всякому слову пономаря, и слова его заметно ее встревожили.

Глава шестая

Мои треволнения и Ненилин жених

Всю следующую неделю я провел в тяжелых волнениях, которые тем были несноснее, что я не мог их разделить ни с кем из близких сердцу: мать моя была очевидно поглощена своими какими-то, как казалось, печальнейшими и тревожнейшими мыслями и на все мои вздохи, вопросы и попытки завести разговоры отвечала единственно поцелуями, советом покататься на Головастике или побегать по двору и предложеньем вкусить от плодов земных или от домашнего печенья и варева.

А Настя и Софроний, казалось, совершенно забыли, существует ли на свете тот, кого они еще так недавно почтили своим вниманием и осчастливили ласками.

Это забвение со стороны Насти и Софрония было мне особенно чувствительно и исполнило меня горестным изумлением.

Я на все был готов, кроме этого их забвения. Я решился с неуклонным мужеством и твердостью переносить самые жесточайшие страдания и даже, упоенный моими восхищенными чувствами, не без некоторой отрады думал о мученичестве, услажденном тайными сношениями с драгоценными мне союзниками, близким общением духовным, опасными с ними свиданьями и прочим тому подобным.

Но, увлекаемый воспоминаньями, я забегаю вперед... Постараюсь повествовать, не нарушая последовательного порядка ни в проявлении собственных чувствований, ни в ходе событий.

На следующее же утро после нашей прогулки в лесу я, исполненный некоего, так сказать, божественного вдохновения, нисходящего на смертных пред свершеньем великих дел, готовый на все подвиги мужества и самоотвержения, выбрал на выгоне у опушки леса удобный пункт, с которого мог наблюдать появление Насти и Софрония, и тут, замирая, притаился.

Я думал об одном: выразить им свои чувства и упиться выраженьем их чувств; что дальше наступит, я того себе не представлял и о том не заботился; я, подобно распаленному воину, стремился вперед с обнаженным мечом, не рассчитывая на победу, не страшась поражения, единственно увлекаемый безумием возбужденного духа.

Я полагаю, будет излишним описывать читателю муки моего ожидания.

Прошли многие, показавшиеся мне веками, до тошноты меня истомившие часы, а все не появлялись те, кого я жаждал узреть.

Пронзительнейшим образом вывизгивала попадья обвиненья в лежебочестве, страшное пожеланье «разродиться девятью ежами», намеренье свое загнать виновную туда, где «козам роги правят», а громкий, но кроткий голос работницы Лизаветы протяжно приводил доказательства усердия и ревности в работе; батрак Прохор запрягал, с свойственной ему меланхолическою медленностию и вздохами, лысую сивую кобылу в тележку с резным задком; юркий пономарь несколько раз прошмыгнул из стороны в сторону с какими-то контрабандными предметами под полой; отец мой обтесывал колышек во дворе, покашливал, приостанавливал тесанье и взывал: «о господи!», а затем снова слабой и неискусной рукой принимался тесать; раз пять благолепная Ненила, сойдя с своего крылечка, приближалась к запрягаемой тележке и, упершись белыми руками в пышные бока, наблюдала за медленными движениями Прохора и задумчиво что-то пережевывала; солнце ярко сияло; немолчный гам и пенье поднимали птицы в лесу; трещали кузнечики, вились белые бабочки.

А я сидел на корточках и ждал!

Наконец показался Софроний.

Мне, как всякому не сильному мира сего, много раз в жизни доводилось упражняться в пассивных и потому несноснейших ожиданиях, а следственно, приходилось много раз испы-

тывать то замиранье и трепет, какие охватывают унылого, истерзанного жгучим нетерпением ожидателя; невзирая на это, до сих пор последующие, иногда достаточно бурные и мятежные чувствования не могли изгладить у меня из памяти помянутых в невинном отрочестве испытанных волнений.

Софроний держал в руках плетушку. Я тотчас сообразил, что он направляется в ельник за грибами на обед. Я пустился во весь дух по бурьянам, не разбирая дороги, и, спотыкаясь, падая, цепляясь, вскрикивая от боли, но презирая ее, домчался до поворота в Волчий Верх и здесь остановился. Я принужден был ухватиться руками за дубовый ствол: сердце у меня билось до разрыва, и дыханье мне захватывало.

Я пересек дорогу Софронию, и мы неминуемо должны были теперь встретиться лицом к лицу.

Софроний не замедлил показаться. Он шел прямо на меня.

Я с жадностью начал в него вглядываться, стараясь по лицу угадать расположение его духа и волнующие его мысли.

Он обыкновенно ходил, слегка понутив голову и почти всегда напевая какую-нибудь думу или былинку мрачного содержания, но теперь он шел безмолвно, несколько закинув голову, задумчиво глядя вперед; в лице его не было ни угрюмости, ни печали, но нельзя тоже было сказать, что он весел или безмятежен.

Наблюдал ли когда благосклонный читатель первые проявления разыгрывающейся бури? Все смолкает; воцаряется глубокая тишь; нет солнца, но нет еще и тьмы; громы небесные изредка, издали, чуть слышно доносятся и не пугают, а скорее ласкают слух; проносящееся время от времени дуновенье ветерка как-то особенно освежительно и отрадно; но во всем оказывается чаянье надходящей грозы...

Теперь, сам уже достаточно знакомый с грозами и бурями душевными, я могу уподобить заигрывающую страсть наступающей ярости стихий, но в то неиспытанное страстями время я только вывел следующее бесхитрое заключение:

«Он, видно, задумался, как нам быть. И, верно, он тоже решил, что лучше уж все терпеть, да только не разлучаться нам».

Мысль эта исполнила меня какой-то особой отчаянной отвагой относительно грозящих бедствий, а вместе с тем несказанною нежностью к доблестному и драгоценному союзнику. Я ринулся к нему навстречу и радостно проговорил:

– Здравствуйте!

– Здорово, Тимош, – ответил он.

Голос его приветлив, но в нем слегка прорывается та недовольная нотка, какая звучит в голосе смертных, внезапно исторгнутых из объятий Морфея или пробужденных от поглотивших их мечтаний; лицо не омрачилось, но не сияет и восторгами; обращение приятельское, дружеское, но без порывов. Приветствуя меня, он наклоняется и срывает гриб.

Я чуть не зарыдал.

Я, жаждавший пред ним излить душу, уповавший на блаженство сочувствия, я мог только пролепетать:

– Вы за грибами?

– Как видишь.

– Это весело, за грибами ходить.

– Ну, оно, пожалуй, можно бы кое-что и повеселее на белом свету сыскать!

Молчанье. Он наклоняется снова и срывает еще гриб.

– Вы в ельник? – спрашиваю я, холодея.

– Да, в ельник; там скорей наберу, а тут и останавливаться не стоит. Ну, счастливо оставаться, Тимош!

И он быстро удаляется.

Я каменею на месте, уничтоженный.

«Что ж это? Вчерашняя блаженная прогулка сон или явь? Или он все забыл? Или что случилось? Не побежать ли мне за ним? Может, он бы иначе теперь заговорил со мной!»

Я сделал было шаг вперед, но вдруг меня поразила мысль, что эта погоня может ему показаться несносной, а так как мне даже в те бессмысленные годы всякое душевное близкое во имя нашей любви к нему было противно, то я отбросил это намеренье с такой же поспешностью, с какой нежная рука отбрасывает от себя раскаленное железо.

Успокоясь несколько, я решил во что бы то ни стало увидеть Настю. С этой целью я обратно отправился к дому, волочась как раненый и в мучительном сомнении повторяя себе:

«Какая-то она теперь будет?»

Жестокая судьба, вероятно, в то утро уже утомилась меня преследовать и, утонченная в жестокостях, позволила мне, что называется, передохнуть, потешила удачею.

Я приближался к выходу из лесу и, подавив, насколько возможно, свои горестные чувства, мысленно изыскивал средства увидеть Настю и поговорить с ней. Вдруг я слышу стук колес по лесной дороге и узнаю легкое тарактенье поповой тележки с резным задком; меланхолическое посвистыванье Прохора и два-три укорительных возгласа, обращенных к сивой кобыле, явственно до меня долетающие, уничтожают последние мои на этот счет сомнения. Я подбегаю на безопасное расстояние к дороге и приседаю за куст.

Едва я успел присесть, как вышеозначенная тележка показывается, и я весь вздрагиваю от неожиданного удовольствия: в ней сидят оба, то есть отец Еремей и матушка Варвара!

Пути к Насте мне очищены!

Но надолго ли они поехали? И куда поехали?

Прохор был в новой белой свитке, и стан его перехватывался новым красным, как жар, поясом; на раменах отца Еремея приятно переливалась праздничная широкорукавная ряса из темной двуличневой материи; одежды же иерейши представляли большое для глаз и непостижимое для ума смешенье красок.

Очевидно, они отправились в гости или в город. Самое ближайшее местопребывание иерейское отстояло от Тернов на двадцать верст, город – на сорок, следственно, они никак не могли возвратиться до вечера. До вечера я успею испытать Настю.

Я устремляюсь по выгону, быстро достигаю границы, отделяющей попов огород от нашего, и жадным взором обзираю все видимое пространство.

Ландшафт оживляла одна Ненила, сидевшая на первой ступеньке своего крылечка и луцившая тыквенные семечки.

Нетерпенье увидеть Настю столь меня обуяло, что я утрачиваю все свое обычное благоразумие и осмотрительность и действую отчаянно.

Я прямо подступаю к Нениле и, насколько волненье позволяет, умильно ее приветствую; затем, не дав ей времени опомниться, коварно восклицаю:

– Ах, сколько ягод в лесу! Просто чудеса!

– Где? – спрашивает Ненила, выплевывая шелуху, которую изумление удержало в ее алых устах.

Известие о ягодах заставило ее забыть дерзновенность моего к ней обращения.

– Везде, – отвечаю я с восторгом – притворным восторгом, ибо в ту минуту пропади все ягоды на земном шаре, я бы даже не ахнул. – Везде, по всему лесу! Так, куда ни глянешь, словно жар горит! И этикие крупные! Я таких крупных сроду еще и не видывал!

– А я вчера ходила-ходила и всего горсточек пять набрала.

И она вздохнула.

– Да вы где ходили? Ходили вы к... к... к Трошинскому шляху?

Читатель! слова мои были исполнены коварства. О растительности близ Трошинского шляху я имел лишь смутное представление. Точно, я слышал от отца, что там, во времена его молодости, удивительно родилась земляника, но сам там я отродясь не бывал.

Так сбивают нас страсти с прямого пути! Мгновение – и вы, сами того не заметив, уж в стороне, уж на какой-нибудь скользкой тропе, сбегающей в пропасть!

– Нет, – отвечает Ненила, – к Трошинскому шляху не ходила. Куда ж это, даль такую! Там, говорят, волков целая страсть. Нет, к Трошинскому шляху не пойду.

И она снова легонько вздыхает и снова принимается лущить тыквенные семечки.

– Нет, – бормочу я, – нет, там волков не бывает. Как можно! Какие там волки! Нет... нет...

Я запинаясь, заикаюсь; мне совестно глянуть в лицо доверчивой волоокой собеседницы.

– Как нет! Вон в Грайворонах так мужика съели. Он поехал за дровами, а они его и съели.

Ох! как подумать, какие на белом свете страсти!

И вздыхает.

– Д-да, – отвечаю я.

– Такие страсти, что избави нас господи!

И снова вздох, еще глубже, а затем истребление тыквенных семечек.

Я стою как на горячих угольях. Где Настя? Слышит ли наш разговор? Если слышит, неужели не выйдет?

– А то вот еще недавно один пан застрелился из ружья: хотел в зайца, да вместо зайца в свою грудь, в самое сердце!

Снова вздох и выплюнутое семечко.

– Где ж это?

– В Соколовке. И такое, сказывают, у этого пана тело белое – белое-пребелое! И жена его, сказывают, так по нем плачет! И мать тоже плачет; и дети плачут... Ох! беда!

И снова вздох, выплюнутое семечко и восклицание:

– Какие этого году семечки червивые! Что ни возьмешь в рот, то одна червоточина! Ох!

В это время к крылечку приближается работница Лизавета с охапкой хворосту.

– Лизавета, а Лизавета! что ж это семечки-то все червивые?

– А что ж мне с ними делать? – отвечает Лизавета.

– Вот так-то всегда! Ох!

– Что ж всегда!

– Ох!

– Чего это вы охаете? Нечего вам совсем охать. Вам радоваться надо!

Ненила снова охает.

Лизавета скрывается за дверями, и я слышу, как в глубине иерейского жилища она говорит Насте:

– Сестрица ваша закручинилась: все охает сидит; пошли бы вы ее разговорили.

Несравненная Лизавета! я мысленно послал ей тысячу благословений за эти слова.

Немного погодя Настя вышла на крылечко и села возле сестры.

Я ожидал, что она, увидав меня с Ненилою, изумится, но она, повидимому, нисколько не изумилась, с пленительнейшей приветливостью сказала мне:

– Здравствуй, Тимош!

И ласково погладила меня по головке.

«Она, видно, уж слышала, что я тут, – подумал я. – Ах, если б теперь Ненила куда-нибудь делась! Что бы Настя мне сказала? Какая она белая нынче! И изморенная какая!»

– Что ж не сядешь, Тимош? – сказала Настя. – Садись.

Я сел около них, ступенькой ниже. Ненила лущила семечки и охала. Настя некоторое время молчала. Я украдкой взглянул на нее; лицо ее было очень задумчиво.

Наконец она сказала:

– Ненила, чего ты все вздыхаешь?

– Да страшно! – ответила Ненила с таким вздохом, который мог бы с успехом свалить годовалого быка.

– Чего ж ты боишься?

– А как бить будет?

– Может, он бить не будет.

– А как будет?

Настя с минуту помолчала, потом сказала:

– Неизвестно, что будет, – чего ж загодя печалиться?

Но вслед за тем она сама тихонько вздохнула и слегка, чуть-чуть усмехнулась, как бы признавая, что такая философия хотя прекрасна и похвальна, но к делу неприменима.

– Кабы я знала, что он бить не будет, так я бы не печалилась, – сказала Ненила. – Ох!

Несколько минут длилось молчание.

– Хоть бы уж папенька с маменькой лисий салоп мне справили, все б мне легче было! – проговорила Ненила. – Справят они, Настя?

– Верно, справят.

– И чтоб атласом покрыть или гранитуром. И покрывку малиновую. К лисице малиновое очень идет. Правда?

– Правда.

– Ну, и чтоб тоже они мне шаль новую дали. Что ж, как я буду замужем без шали? Теперь всем в приданое шали дают. А маменька кричит: «Обойдется!» Уж это лучше совсем замуж не ходить, если шали не дадут! Мне только стыд один будет! Ох, господи, вот беда-то!

Она встала.

– Куда ты? – спросила Настя.

– Напиться. Уж какие эти семечки нынче червивые! Во рту даже горько стало! Ох!

Наконец она скрылась!

Сердце запрыгало у меня в груди, и туман застлал глаза.

Как она теперь взглянет? Что она теперь скажет?

Но она и не глядела и не говорила. Глаза ее были устремлены вдаль, и мыслями она витала где-то далеко-далеко. Слабый румянец проступал у нее в лице, понемногу разливался-разливался и вдруг вспыхивал яркой зарей, глаза начинали лучиться, и вся она словно разгоралась; вслед за тем она бледнела и вся утихала.

«Что с нею? – думал я с тоскою. – И она все забыла?»

– Ты мне лучше грушовничку⁷ подай, – доносился из внутренности жилища голос Ненилы.

Ненила могла каждую минуту появиться! Я не помнил себя.

– Помните, – прошептал я, задыхаясь от волнения, – помните, как вчера весело было? Там, в лесу...

Она поглядела на меня, как бы вопрошая, кто я такой и откуда взялся, но тотчас же все сообразила и ответила, улыбаясь:

– Ах ты, лакомка!

– Я не лакомка, – ответил я с отчаянием. – Я не про ягоды... а так было весело... Я бы все так гулял!

– Ишь, гулена! А кабы тебя за работу посадить? а?

⁷ Напиток, приготовляемый из груш, род кваса. (Прим. автора.)

Она, улыбаясь, слегка притронулась к моей щеке, как бы угрожая ущипнуть, но все это вдруг словно оборвалось – и улыбка, и слова, и ласка. Она побледнела, сложила руки на коленях, умолкла и снова принялась глядеть вдаль.

Между тем я уже слышал развалистую походку Ненилы.

– Поидете опять... в воскресенье... туда... в лес... как вчера?.. – прошептал я, трепещущий.

Настя встрепенулась, как бы испуганно взглянула на меня и с живостью ответила:

– Не знаю.

– Поидемте! – начал я молить ее, чуть не плача. – Поидемте!

– Ну, хорошо, я пойду.

– Поидете? Правда?

– Пойду, пойду, – проговорила она и вдруг встала, облилась вся алым румянцем и снова поместилась на ступеньке крылечка и задумалась.

– И грушовник у нас какой нынче, – сказала Ненила, появляясь в дверях. – Совсем в нем смаку нет: пьешь, а все одно что мякинний настой! Ох!

Она тяжело опустилась на ступеньку крылечка, на прежнее место.

– Ох!

И громко, каким-то особенным образом икнула. Со стороны можно было подумать, что звук этот произведен звонкоголосой иволгой. И оказала:

– Это, видно, он меня поминает: так с засердцов и взяло! Ах, беда, беда! Будет он меня бить! Кабы он хоть не рябой был, все бы легче! А то как он еще рябой! Тогда просто хоть умирай ложись.

– С чего ты взяла, что он рябой? – сказала Настя. – Говорили: красавец!

– Что говорили! Завсегда невест обманывают. Вон Крестовоздвиженской Кадочке сказали, что красавец, а он рябой-прерябой, точно исклеванный, макушка лысая, как колено, и сам красный. И драчун. И на первый день ее откатал. Ох!

– И что это вы все такое прибираете! – сказала Лизавета, появляясь с решетом в руках. – Это вы, Ненила Еремеевна, все с жиру!

– Погоди: пропадет у меня весь жир-то! – отвечала Ненила меланхолически. ~ Весь пропадет, как есть до последней капли!

– А может, вас разнесет, как грайворонскую попадью.

– Нет, уж прощай мое веселье! Пришла беда! Пропаду! Ох!

Столь трагические слова странно звучали в устах Ненилы; в этот день она особенно поражала взоры яркостью ланит, крепостью тела и живостью аппетита: после тыквенных семечек и грушовника она вынесла себе ватрушку необычайных размеров, которая в ее руках быстро исчезала.

– Поидемте-ка лучше стручки рвать к обеду, – сказала Лизавета.

– Кабы меня к Крестовоздвиженским маменька отпустила, так я бы там хоть на картах погадала.

– Что ж, вы попроситесь, – может, и отпустит. А теперь поидемте покуда за стручками.

– Нешто вправду пойти?

– Поидемте!

– Ну, поидем.

Она встала со вздохом и развалистым шагом последовала за проворною моею благодетельницею Лизаветою на огород. Сделав несколько шагов, она обернулась и крикнула:

– Настя, что ж ты не идешь?

– Я тут посижу, – отвечала Настя.

– Иди, вместе все веселее, – настаивала Ненила.

Настя было приподнялась, но тотчас же снова села на ступеньке и, казалось, забыла обо всем ее окружающем.

Тщетно я старался привлечь ее внимание робким покашливанием, вздохами, постукиванием ногтями по ступеньке; я даже несколько раз умышленно ронял свою шапку так, что она падала прямо перед ее глазами, – все без успеха!

«Верно, что-нибудь случилось, только я этого не знаю, – думал я. – Но что же случилось?»

И, тоскуя, я терялся в недоумениях.

Незаметно подьюркнувший к нам пономарь спугнул Настину задумчивость и спутал нити моих унылых соображений.

– Здравствуйте, Настасья Еремеевна, – начал он тараторить. – Как вы в своем драгоценном здравии? Поздравляю вас, Настасья Еремеевна, с радостью. Желаю и вам того же, что сестрице вашей господь посылает. Вот, говорят, нету правды на земле, – правда есть! Господь всегда взыщет благочестивых своею милостию. Вот и взыскал он ваших родителей, Настасья Еремеевна, и взыскал... Вы, Настасья Еремеевна, и сестрица ваша, все одно как цветы прекрасные: всякое око вами пленяется. Куда ни пойду, ни поеду, все слышу: красавицы дочери у отца Еремея, красавицы! Да, думаю, уж насчет красоты будьте спокойны: Соломонова царица перед их красотой спрячется! Исходи весь свет, так не сыщешь таких, как наша Настасья Еремеевна да Ненила Еремеевна! Уж это и враг их, и то должен им приписать! Как глянешь на Настасью Еремеевну да на Ненилу Еремеевну, так потом на других и глядеть нельзя: просто глаза сами закрываются! Вот недавно посмотрел я на Крестовоздвиженских, на дочек отца Петра, так ведь даже я ахнул: совсем в них никаких прелестей нету! Ну, известно, и женихов таких нету! Наш женишок в воскресенье пожалует, Настасья Еремеевна?

– Да, в воскресенье, – ответила Настя.

– Сокол, говорят, настоящий как есть сокол! И денег у него, говорят, целая казна! Просто куры не клюют!

– Да, говорят, богатый, – отвечала Настя.

– Дай господи вашим родителям за их благочестие и милосердие! – сказал лицемерный пономарь, набожно поднял свои лукавые глаза к небу и осенил себя крестным знамением.

– Не засиделась у нас Ненила Еремеевна, – продолжал он, – не засиделась! Не успели мы и наглядеться на нее! Так-то и вы, Настасья Еремеевна, того и гляди, что покинете нас сиротами.

Вероятно, до слуха Ненилы долетели звуки пономарева голоса, ибо она появилась у огородной калитки и вытянула свою белоснежную выю, как бы прислушиваясь.

– Ах! – вскрикнул пономарь, увидав ее. – Ах! Ненила Еремеевна! Улетите вы от нас, наша пташечка!

И без того меланхолически настроенная приближением роковых смотрин, Ненила при сердечном восклицании пономаря совсем растрогалась. Удушьяемая волнением, а также свежим горохом, наполнявшим ей рот, она пробормотала:

– Улечу! улечу!

И заплакала, прикрывши благолепный лик свой рукавом.

– Что ж это вы, Ненила Еремеевна! – воскликнул пономарь. – Это нам слезы проливать, а вам только радоваться! У кого такие женихи-то? Все от зависти почахнут! Это уж вам господь за вашу добродетель посылает такого вельможу! Красавец, богач, умница! А родня-то какова! Доступ к первым представителям господа нашего Иисуса Христа! Нет уж, Ненила Еремеевна! не гневите всевышнего слезами! Вы возликуйте! Сподобил вас творец небесный великого благополучия. Все теперь ахают на ваше благополучие. Отца Петра дочки так просто места себе не находят; так все руки к небу и: «Счастливая Ненила Еремеевна, счастливая! Какому это святому она молилась, которому мученику поклонялась?»

Ненила мало-помалу опускала рукав, которым, в порыве чувствительности, она было прикрыла свой образ; слова красноречивого пономаря, видимо, действовали на нее приятно.

Привлекаемая этими словами, как неким лакомым блюдом, она все ближе и ближе подступала, пока, наконец, с умильной усмешкой заняла место на ступеньке крылечка.

– Поздравляю, Ненила Еремеевна, поздравляю! – говорил пономарь. – И дай вам господь многие лета!

Настя встала и, прежде чем я успел опомниться, скрылась во внутренность жилища. Ни единого прощального слова! ни единого взгляда!

Пономарь продолжал рассыпаться мелким бесом перед простодушною Немилою. Я оставил их и с сокрушенным сердцем отправился домой.

Мать тотчас же заметила мое расстройство.

– Что ты, Тимош? – спросила она.

Я выразил ей грусть мою по поводу внезапного и для меня непонятного Настина и Софрониева ко мне охлаждения.

– Вчера как любили, – говорил я с сокрушением, – а нынче совсем нет! А нынче совсем нет!

Мать рассмеялась, по лицу ее все-таки сохраняло столь печальное выражение, что я не оскорбился этим, по-моему, совсем неуместным смехом, а только еще более встревожился.

– Так вчера очень любили? – сказала она, привлекая меня к себе. – Ах ты, мой мальчишечка милый!

Она крепко меня поцеловала и прибавила:

– Ты не горюй, они тебя любят.

– Ничего со мной не говорят, – возразил я жалобно.

– Будут говорить, а куда ты поиграй поди, побегай. Хочешь, может, есть?

Но не до игры мне было, и не до беганья, и не до еды.

Я, по наружности спокойный и тихий, от природы нрава упорного и страстного (могу даже сказать, необузданного, дикого), а вместе с тем предприимчивого, постоянного и терпеливого: раз поставив себе какую-либо цель, я уже не ведаю поворота, я стремлюсь, пока или достигну, или паду с расшибенным лбом, то есть перед непреодолимым препятствием. Прибавлю, что я вовсе не человеконенавистник, отнюдь не чуждаюсь обмена мыслей и раздела чувств, а к душевным разговорам с людьми мне близкими даже имею великое пристрастие. Эти мои свойства, взятые совокупно, могли бы служить источником несноснейших неприятностей для окружающих, если бы провидение не наделило меня, в своей бесконечной благодати, некоторою совестью и гордостью. Помянутые два качества (последнее, по уверению одного моего приятеля, даже переходило в смертный грех) помешали мне быть навязчивым и обременительным для кого бы то ни было. Правда, увлекаемый пылкими чувствованиями, я, случалось, изливал их пред близкими мне особами, не замечая их томления и не подозревая их душевного ропота, – то был грех невольный, который, уповаю, все они мне отпустят, – но раз поняв, что обращения мои тягостны, я, каковы бы ни были мои обстоятельства, избегал этого, как бездонных пропастей или сожигающих громов небесных. Я, даже в порывах отчаяния, предпочитал удалиться в глубину лесов или в ущелья гор, а за невозможностью исполнить это, в свой душный уголок, и там, никем не зримый, проливал слезы, сетовал на судьбу, размышлял о жизни и смерти, искал выхода из горестного состояния. Таким образом, я мало-помалу привык обходиться собственными моими силами и в выставлении своих душевных язв для получения с дружбы или любви носильной копеечки укорить себя не могу.

Но смертному свойственны иллюзии, колебания, отступления, хотя бы легкие, от принятых правил и некоего рода коварство с самим собою, и поэтому самые благонамереннейшие нередко впадают в противоречия и грешат.

Я не ограничился первыми попытками: я еще несколько раз подкарауливал Настю и Софрония. Я уже решил не подходить к ним, не заговаривать с ними, но только попадаться

им издали: а вдруг они попрержнему приветливо на меня глянут, и покличут, и опять вознесут меня и осчастливят?

Но ничего подобного не случилось. Софрония я несколько раз подкарауливал, но кроме «здорово, Тимош!» ничего от него не слышал; иногда он совсем меня не замечал. Что же касается Насти, то не только ее пленительного лица, даже края ее одежд я не видал. Она как бы замуравалась в отчем жилище.

«Все кончено! – думал я, – все кончено!»

И вдруг, среди мрачных туч уныния, мелькал золотой луч надежды:

«Однако она обещалась снова идти в лес! однако она прямо оказала: „пойду“!» Или это было сказано, дабы пощадить мои чувства?

Так, недоумевая и тоскуя, проводил я дни.

Между тем роковое для Ненилы событие приближалось.

В жилище отца Еремея с четверга, с «легкого дня», деятельно занялись приготовлениями к принятию жениха: встряхивали покрывала, занавесы постельные, обметали потолки, стены, терли полы, мели двор, усыпали песком у крылечка. С рассвета до заката надсаживалась иерейша, извергая проклятия, приказы, понукания, угрозы; с рассвета до заката чело многотерпеливой работницы Лизаветы было увлажнено каплями пота, а ланиты пылали, подобно зареву пожара. Батрак Прохор, даже в виду грядущего торжественного события, не изменил своей системе действия, то есть при первых громах Македонской он исчезал и снова появлялся не прежде прекращения яростных криков, оправдывая свое исчезновение и отсутствие внезапною тошнотою или схватками в животе и с великими вздохами приписывая недуги карательной силе иерейшиних проклятий.

Пономарь поминутно забегал к нам для сообщения волнующих известий.

– Навезли из города заморских вин, – говорил он раз, примаргивая, – этикие всё бутылки с печатями! навезли всяких дорогих миндалей! Теленка велели заколоть! Накупили атласов, серег! И преотличную покрывку на пуховики и шаль! Целую тысячу, надо полагать, ухнули! Он знает, где надо рублем брякнуть! Ну, отец дякон! Теперь мы только держись! Одно слово: архиерейский племянничек! А мы что такое? Прах земли! Плюнет на нас и разотрет нас, и ничего от нас не останется!

– Воля божия, воля божия! – отвечал жалобно отец.

Провидение столь щедро одарило меня духом любознательности, что я, даже во времена самых сильных испытаний, никогда не утрачивал этого дара. Хотя поглощенный тревогами и недоумениями, пожираемый тоскою, я, едва коснулось моего слуха шепотливое восклицание пономаря: архиерейский племянничек! наострил уши. Начав внимательно прислушиваться к разговору, я скоро возымел достаточное представление о значении и могуществе вышеупомянутой особы.

Не довольствуясь этим, я пожелал собрать более определенные биографические сведения. Обратясь к отцу, я начал самыми простыми, общепринятыми вопросами: откуда родом, живы ли родители, кто они такие и где жительствоуют.

Но когда я произнес:

– А мать у архиерейского племянника жива? Где она?

Пономарь подпрыгнул, как бы уколотый острою иглою, и в смятении на меня прикрикнул:

– Шт!

Мой отец, тоже в величайшем смятении, повторил:

– Шт! Шт!

Я поглядел на них, крайне изумленный.

– Никогда ты про это и не поминай! – сказал пономарь внушительно.

– Не поминай, Тимош, не поминай! – твердил отец.

– А про отца можно поминать? Где его...

– Шт! Шт! – завопили они в вящем смятении.

И пономарь затопал на меня ногами, а отец замахал руками:

– Не поминать и про...

– Ни-ни-ни-ни! – затопал пономарь.

– Ни-ни-ни-ни! – замахал отец.

– Коли ты хочешь жив быть, – прошептал пономарь, – так ты сейчас навеки забудь про все про это! Ах, какой пострел, прости господи! Где ты это такого духу набрался, чтобы обо всем расспрашивать, а? Дети не должны никогда ни о чем расспрашивать, это грех! За это тебя в ад, в горячую смолу! Что глядишь-то? Ты лучше заруби это себе на носу! Коли ты еще осмелишься спрашивать, так тебя так прохворостят, что небу станет жарко!

– Он уже не будет! – лепетал отец, – он уж никогда не будет!

Непочтительное обращение пономаря сильно меня оскорбило. Пока шло о посулках небесных кар, я еще терпел, по когда он употребил глагол «прохворостить», что явно относилось к земной исправительной системе, я не выдержал и возразил ему с некоторою горячностью:

– Я не знал, что нельзя об этом спрашивать, я не виноват, а коли меня... меня...

От негодования я запнулся.

– Ах ты, грубиян! – воскликнул пономарь. – Ну, отец дьякон! наживете вы с ним беды!

Чего вы его не учите? Ну, подведет он вас!

– Еще младенец, еще невинный, – лепетал отец.

– Так что ж что невинный? Тут-то и сечь, а потом уж поздно будет, как с версту вырастет!

– Да он уж не будет, он уж не будет никогда, – лепетал отец.

Его слабая, нерешительная защита только в вящее меня приводила раздражение.

– Коли меня тронет кто, – сказал я, – так я повешусь, как бобриковская Одарка!

(Недели за две до освобождения крестьян крестьянка из села Бобрикова, Одарка, уже упоенная надеждами на свободу, была наказана розгами; впав в отчаяние, она сказала мужу: «Ничего, видно, не будет! Вы все, коли охота, живите, а я больше не хочу!» и в ту же ночь повесилась в саду, перед господским балконом, на перекладине, устроенной для гимнастических упражнений юного господского поколения.)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.